

ГЕНРИХ КЛЕЙСТ

**МИХАЕЛЬ
КОЛЬГАДС**



'ACADEMIA'



**С О Б Р А Н И Е
Н О В Е Л Л**

ГЕЙНРИХА КЛЕЙСТА

**ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК
В. М. ЖИРМУНСКОГО
ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО**

**ПОД РЕДАКЦИЕЙ
ГРИГ. ПЕТНИКОВА**

**«А С А Д Е М И А»
ЛЕНИНГРАД
1928**

ГЕЙНРИХ КЛЕЙСТ
HEINRICH VON KLEIST

МИХАЕЛЬ КОЛЬГААС
MICHAEL KOLHAAAS

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО
ГРИГ. ПЕТНИКОВА

«А С А Д Е М І А»
ЛЕНИНГРАД
1928

Обложка и иллюстрации — оригинальные
гравюры на дереве А. И. КРАВЧЕНКО

Гос. типогр. газеты „Лен. Правда“, Ленинград, Социалистич., 14.
Ленинградский Облит № 40364. 10¼ л. Заказ 2832. Тираж 3000.

ПРЕДИСЛОВИЕ

18 октября 1927 года Германия торжественно справляла 150-летие со дня рождения Гейнриха фон Клейст (1777—1811), немецкого поэта эпохи романтизма. При жизни, однако, Клейст не пользовался вниманием и любовью современников. На протяжении всего XIX века он продолжал оставаться поэтом для немногих (среди которых отметим Э. Т. Гофмана и Геббеля), и лишь эпоха немецкого натурализма, на рубеже XX века, оценила в нем величайшего немецкого драматурга и одного из лучших рассказчиков нового времени. При жизни Клейст был литературным одиночкой, оригиналом с чертами непризнанного гения и неудачника в практической жизни. В классическом Веймаре, где царствовал Гете, он был встречен холодно и несочувственно, как представитель молодого поколения бунтарей, тревоживших спокойное величие и гармоническую ясность Винкельмановского канона нового классицизма. С романтиками, однако, его сближали лишь темы его искусства: интерес к иррациональным «ночным» сторонам человеческой души, психологическая проблематика поколебленного философским

идеализмом чувства реальности внешнего мира, романтическая концепция идеальной «чувственно-сверхчувственной» любви и связанные с ней индивидуалистические изломы и извращения любовного аффекта (среди драм—«Кэтхен из Гейльбронна», «Пен-тезиля», «Амфитрион», среди рассказов—«Маркиза О...», «Обручение на острове Сен-Доминго», «Найденый»). Но в своей трактовке этих тем Клейст резко выделяется среди молодого поколения романтиков: он свободен от эмоционального отождествления живой человеческой личности художника с героями и событиями произведения искусства, от лирического субъективизма романтического стиля; он ищет в искусстве композиционной строгости и законченности, не музыкальных, а прежде всего—архитектонических эффектов.

Клейст происходил из старинной прусской военной и дворянской семьи, по обычаю предков в ранней молодости (в 1792 г.) поступил на военную службу и участвовал в походе против Франции (в 1793 г.), но вскоре после заключения мира вышел в отставку (1799 г.), желая посвятить себя научным занятиям. Подобно многим другим представителям идеально-настроенной молодежи эпохи Шиллера и Канта, он стремился к культуре личности, в изучении философии искал пути к осмыслению жизни и в выработке рационального мировоззрения—руководящих моральных норм для собственного жизненного дела. Знакомство с теорией познания Канта явилось источником основного разочарования его

жизни: из чтения Канта он вынес глубоко поразившее его убеждение о субъективности наших знаний о внешнем мире, о призрачности стремлений к абсолютной истине и подлинному познанию бытия. Переживание субъективности внешнего мира и трагические конфликты между истиной вещей и истиной внутреннего чувства являются с той поры любимой темой поэтических произведений Клейста (ср. в особенности в драмах—«Амфитрион», «Пентезиilea», «Принц Гомбургский», в рассказах—«Маркиза О.», «Поединок» и др.).

Дальнейшие годы Клейста посвящены поэтическому творчеству. И здесь его ожидает ряд разочарований: сначала—крушение грандиозного замысла возрождения античной трагедии на материале шекспировских тем в незаконченном «Роберте Гвискаре», сожженным самим автором в 1803 г.; затем—провал комедии «Разбитая Кружка» на сцене веймаровского театра (1808) и конфликт с Гете после его отрицательного отзыва о «странной» и «чуждой» ему «Пентезиilee» (1809). Но несмотря на внешний неуспех Клейст продолжает идти своими путями: рядом с риторически-идеализованной трагедией Шиллера, в которой источником трагического конфликта являются сознательные устремления моральной воли, он создает в эти годы своеобразную и новую форму драматического искусства, где трагическое действие, конфликт и катастрофа, вырастают из бессознательных, инстинктивных тяготений и аффектов человеческой души, погруженной всецело в мир иррадио-

нального («Кэтхен», «Пентезилея», «Принц Гомбургский») ¹.

Политические события того времени, поражение Пруссии в борьбе с Наполеоном (1807—1809), готовят, в последний период жизни Клейста, глубокий перелом, характерный для всего молодого поколения: от индивидуалистических и эстетических стремлений эпохи личной культуры к историческим, национальным и общественным проблемам. Клейст сближается в Берлине с представителями национальной реакции против наполеоновского режима, он издает «Берлинские Вечерние Листки» (1810), близкие к идеологии этих кругов. Его последние драмы «Битва в Тевтобургском лесу» и «Принц Гомбургский» возникли из актуальных национально-политических переживаний—борьбы против Наполеона; последняя драма изображает проблематику отречения от индивидуализма во имя сверхличного морального закона, воплощенного в идее государственного и национального целого. Однако, лично для Клейста такое отречение от воспитавшей его индивидуалистической культуры эпохи Гете и романтизма оказалось, повидимому, не по силам. В трудную минуту неразрешимого жизненного конфликта он находит исход в самоубийстве вместе с любимой женщиной (1811).

Рассказы Клейста, по своему художественному замыслу, возвращают нас к старинным, строгим

¹ Драммы имеются в русском переводе, изд. «Всемирной Литературы».

формам европейской новеллистики (Бокаччо, Сервантес): новелла, как литературный жанр, первоначально обозначает рассказ о необыкновенном случае. Поэтому события, происшествие, «сюжет» в узком смысле, главенствует в рассказах Клейста над характерами: можно сказать, что персонажи, по существу незначительные и ничем не выделяющиеся (маркиза, Густав и Тони в «Обручении», Иероним и Иозефа) становятся героями под тяжестью событий, случайно возложенных на них судьбой. В развитии сюжета Клейст приближается к авантюрному жанру; он умело пользуется традиционными приемами возбуждения внимания, сюжетного напряжения: в начале—тайна, загадка, затем—постепенное ее разрешение («Маркиза»), иногда даже—в обнаженной форме судебного разбирательства («Поединок»; ср. аналогичное построение в комедии «Разбитый Кувшин»); или «бегство и преследование», волнующие перипетии надвигающейся опасности, во время которых мы до конца находимся в полной неуверенности, какая судьба ожидает героев («Обручение», отчасти—«Землетрясение в Чили»). Короткая экспозиция в одной или нескольких фразах сразу вводит в исходную ситуацию, полную драматического напряжения, иногда даже предвосхищает (как в распространенных заглавиях старинных новелл) в кратком и сухом итоге последующие происшествия, заинтересовывая читателя необычными и загадочными симптомами. При этом события рассказа нередко развиваются на фоне грандиозной и эффектной

исторической катастрофы: восстание негров на острове Сен-Доминго, в которое влетает рассказ о любви Густава и Тони («Обручение»), землетрясение в Чили, играющее решающую роль в судьбе Иеронима и Иозефы, осада крепости, сближающая маркизу и графа («Маркиза О.»), чума, которая вводит приемыша в дом Антонио Пиакки. Однако, оригинальность Клейста по сравнению с авантюрной новеллой заключается в том, что на фоне необычайных внешних происшествий разворачиваются столь же необычайные события мира морального. Развитие внешнего действия приводит к парадоксальной душевной ситуации, как случай с маркизой, не знающей, когда и как она стала матерью, или положение невинной Гильдегарды, осужденной божьим судом («Поединок»), или Тони, вынужденной обмануть возлюбленного, чтобы спасти его от смертельной опасности («Обручение»). Морально-психологическая проблематика подобных положений интересует автора не меньше, чем внешние события рассказа. Они как бы намечают руководящую тему повествования, основное содержание описываемого автором «случая», и делают для нас человечески значительными и занимательными те происшествия, которые разворачиваются в новелле. Впрочем, Клейст нигде не задерживается на так наз. «психологическом анализе», т. е. на подробном описании и расчленении переживаний действующих лиц — он показывает их в действии, как элементы развития сюжета.

В выборе тем, в самом пристрастии Клейста к психологически-необычному и морально-проблематическому, проявляются его романтические вкусы. Однако, по сравнению с современными ему новеллистами-романтиками (как молодой Тик, Эйхендорф и др.), он выделяется отсутствием эмоционально-лирического отношения к предметам повествования. Герои Клейста никогда не выступают перед читателем в ореоле романтической идеализации, характерной для той эпохи: к своим героям и их поступкам Клейст подходит с необычайной простотой и прямоотой, с клиническим бесстрашием собирателя моральных курьезов и холодного сердцеведа. Даже романтически-чудесное (напр. в «Легенде о св. Цецилии» или в «Нищенке из Локарно») не заражает его, как других современников и превращается в его руках в рассказ хроникера о поразившем его внимание необычайном случае. Эта особенность рассказчика проявляется и в словесном стиле: сухая и строгая манера Клейста приближается то к стилю старинной хроники, то к историческому анекдоту, и в этом смысле напоминает таких мастеров классической новеллы, как Пушкин, Мериме. В Германии эту традицию отчасти продолжает Э. Т. А. Гофман, который многому научился у Клейста.

Из рассказов Клейста выделяется по размерам историческая повесть «Михаель Кольгаас» (1808—10). В основе сюжета лежат подлинные исторические происшествия, с которыми Клейст познакомился в старинной немецкой хронике второй половины XVI века.

Тема «Кольгааса» — восстание личности против государства в защиту своих поправных «естественных» прав и связанный с этой темой образ «честного бунтовщика» хорошо известны немецкой литературе конца XVIII века, проникнутой в своей общественной философии либерально-анархическим индивидуализмом. В юношеской драме Гете «Гец фон Берлихинген» (1773—74) образ этот впервые входит в литературу, притом — в сродной исторической обстановке эпохи реформации: средневековый анархист, свободный рыцарь Гец выступает против феодальных князей и представляемой ими государственной власти в защиту поправной свободы, опираясь на старинное право «частной войны». В «Разбойниках» Шиллера (1791) та же тема приобретает современный характер и окрашивается чертами морального обличения и социального бунта: благородный разбойник Карл Моор берется за оружие, чтобы отомстить сильным мира сего за поправную добродетель и социальную справедливость. Художественному замыслу Клейста одинаково чужды обличительный пафос политически актуальной драмы Шиллера и широкая историческая живопись Гете. Как всегда, его интересует прежде всего моральная проблематика этого необыкновенного случая, клинический анализ парадоксальной психологической ситуации: простой, почтенный и скромный человек становится «разбойником и убийцей» из за поправного чувства справедливости, которое из пассивной «добродетели» вырастает в чудовищную, всепогло-

щающую страсть. Вслед за определением темы, намеченной в первых словах, следуют необычайные события рассказа, развивающиеся с драматической последовательностью от завязки (правонарушения) через ряд промежуточных ступеней до логически необходимой развязки (восстановление поправленного права и казнь самого Кольгааса, как правонарушителя). Историческая обстановка, социальные мотивы и т. д. не имеют самодовлеющего значения и вплетены в движение рассказа, как элементы сюжетного развития. Единство повести нарушается только чрезвычайно разросшимся эпизодом с цыганкой и ее предсказанием курфюрсту саксонскому—единственный случай, когда Клейст отходит от своей сжатой и экономной манеры повествования и позволяет себе обширное отступление в духе романтических рассказчиков. В настоящее время установлено, что эпизод этот отсутствовал в первоначальном замысле «Кольгааса».

В. Жирмунский

МИХАЕЛЬ КОЛЬГААС

(Историческая справка)

Время действия новеллы «Михаэль Кольгаас» — первая половина XVI века. О своем герое и событиях его жизни Клейст узнал из старинной хроники. Иоганнес Кольгаас, торговец лошадьми,—лицо историческое: хроника знает историю с лошадьми, неудачную апелляцию к саксонскому курфюрсту, сожжение предместий города Виттенберга, разговор с Лютером, попытку примирения, совет, поданный Нагельшмитом, процесс и казнь Кольгааса. Он был казнен в Берлине в вербный понедельник 1540 года.

Новелла Клейста разыгрывается на историческом фоне Германии XVI века. По своему политическому развитию Германия нового времени сильно отстала от других европейских стран. В то время, как соседние страны, ликвидировав сравнительно рано остатки средневекового феодализма, шли по пути политической централизации и создания абсолютной монархии, Германия сохраняла до французской революции средневековую расщепленность на множество самостоятельных государственных образований, находившихся лишь в номинальном подчинении императору Священной Римской Империи. Не только

более обширные территории, но и маленькие поместья имперских рыцарей наделены были полнотой государственной власти; в пределах более крупных княжеских территорий продолжали оставаться полувисимые вассальные владения земского дворянства, в которых власть помещика сохраняла попрежнему не только частно-правовой, но, в значительной степени, государственный характер. Такими вассалами саксонского курфюрста, повидимому, являлись и рыцари фон Тронка: они имеют право взимать пошлину с проезжающих, творить суд и расправу, хотя и подчинены, в порядке апелляции, суду своего сюзерена, саксонского курфюрста.

В интересах имперских князей было усиление центральной княжеской власти и сокращение вольностей мелких феодалов, в особенности—ограничение тех произвольных вымогательств и утеснений, которым подвергались купцы на больших дорогах, проходивших через поместья рыцарей. В начале XVI века эта политика князей встречает отпор в восстании имперского рыцарства, под предводительством Франца фон Зиккингена и Ульриха фон Гуттена (1522). В свою очередь купечество, более всего нуждавшееся для своей мирной торговой деятельности в установлении правосудия и общих гражданских норм, смотрело на князей, как на своих естественных защитников. Такова точка зрения Кольгааса: он не может продолжать вести свои торговые дела, пока не будет уверен в защите закона; против произвола рыцаря он апеллирует

к суду саксонского курфюрста. Что такая апелляция маленького человека не всегда встречала необходимое внимание высшей власти, показывает судьба Кольгааса: мелкий помещик-феодал нередко был связан с княжеским двором семейными или служебными узами. Защищая свои права, Кольгаас становится правонарушителем: он собирает вокруг себя недозвольных и обездоленных, которых всегда было не мало в эти трудные и беспокойные времена, но его идея—не восстание против существующего политического и общественного строя, а восстановление поправного права, обеспечивающего ему в пределах существующего строя возможность мирно заниматься своим делом. Курфюрст Бранденбургский и выступает в конце повести, как воплощение той законности, которой ищет Кольгаас, апеллируя к имперским князьям.

Для Клейста характерно, что правовое чувство своего героя, обусловленное исторической обстановкой и социальным положением, он возводит в абсолютную моральную категорию, делая Кольгааса защитником «естественных прав» человека (в духе XVIII века) и носителем своего рода категорического императива отвлеченной справедливости.

На берегах реки Гавеля жил в середине шестнадцатого столетия некий конноторговец по имени **М и х а е л ь К о л ь г а а с**, сын школьного учителя, один из справедливейших и вместе с тем самых ужасных людей того времени. Этот необыкновенный человек до своего тридцатилетнего возраста мог бы служить всякому примером доброго гражданина. В одной деревушке, еще до сих пор носящей его имя, был у него хутор, где он мирно и тихо жил, занимаясь своим промыслом; детей, которых он имел от своей жены, воспитывал он в страхе божием, приучая их к труду и честности; не было ни одного человека среди его соседей, который бы не радовался, глядя на его добрые дела и справедливость; одним словом, мир благословлял бы память о нем, если бы не впал он в крайность в одной из своих добродетелей. Но вот чувство справедливости сделало из него разбойника и убийцу.

Ехал он однажды за кордон с партией молодых, резвых, откормленных лошадей и

стал по дороге уже прикидывать в уме, как лучше употребить барыш, который надеялся он выручить при продаже их на ярмарках; как добрый хозяин, часть денег предназначал он пустить в оборот, а остальную—на текущие нужды. Вдруг, подъехав к берегу Эльбы, близ одного богатого рыцарского замка, что в Саксонской области, натолкнулся он на шлагбаум, которого прежде на этом месте никогда не видывал. Дождь лил, как из ведра. Кольгаас тотчас остановил коней и крикнул сборщика шоссейных пошлин, который и не замедлил вскоре высунуть из окошка мрачное свое лицо. Конно-торговец попросил его открыть шлагбаум.

— Что у вас тут за новшества?—спросил он, когда сборщик, спустя некоторое время, показался на пороге сторожки.

— Привилегия курфюрста, дарованная помещику Венцелю фон-Тронка,—отвечал тот, медленно отпирая шлагбаум.

— Так вот оно что. Помещика звать, значит, Венцель?—заметил Кольгаас, оглядывая замок, смотревший своими блестящими дозорным башнями на окрестные поля.

— А разве старый то владелец помер?

— Да. От удара,—отвечал сборщик, медленно подымая шлагбаум.

—Хм! жаль!—заметил Кольгаас.—А что и говорить, достойный был старик—не брезговал общаться с нашим братом. Пособлял по

мере сил в нашем житье-бытье, когда то даже устроил он каменную плотину и только из за того, что моя кобыла сломала себе ногу — вон в том месте, где дорога как раз сворачивает на деревню. Ну, сколько ж я должен? — спросил он, с трудом и нехотя вытаскивая из под развевавшегося от ветра плаща затребованные сборщиком гроши.

— Да, старина,—прибавил он, когда тот, проклиная непогоду, ворчал ему вслед: «живей! живей!»—если бы дерево то, срубленное для шлагбаума, росло себе преспокойно в лесу, было бы куда лучше как для меня, так и для вас.

С этими словами он подал ему деньги и хотел было продолжать путь свой дальше. Но не успел он и подъехать под шлагбаум, как сзади него раздался из башни чей то голос:

— Эй, ты, кобылий хвост, постой ка!.—И вслед за тем Кольгаас увидел, как фогт, захлопнув окно, опрометью бросился к нему.

«Ну, что тут еще за новости?» — подумал Кольгаас, придерживая коней. Фогт, застегивая на бегу жилет, плотно облежавший его толстый живот, подошел к нему и, повернувшись спиною к ветру, потребовал у него пропуск.

Кольгаас переспросил:

— Пропуск?—и, несколько смутившись, ответил, что, насколько ему ведомо, никакого

пропуска у него нет; пусть, впрочем, объяснит, что это за штука такая, а то, может, чего доброго у него случайно и окажется таковой. Фогт, оглядев его искоса, заявил, что без пропуска от курфюрста никто из коневодов за кордон с лошадьми ехать не смеет.

Кольгаас стал уверять, что семнадцать уж раз в своей жизни проезжал границу без такого удостоверения, и что все правительственные распоряжения, касающиеся его промысла, ему досконально известны; что это, должно быть, простое недоразумение, которое он просит выяснить, а в виду дальнего пути, предстоящего ему сегодня, не задерживать его понапрасну. Фогт возразил на это, что уж в восемнадцатый то раз ему не удастся так легко проскользнуть, для этого мол, и сделано новое распоряжение, и он должен или выправить тотчас себе пропуск или возвращаться обратно по добру, по здорову. Конноторговец, раздосадованный таким незаконным притеснением, пораздумав, сошел с коня, передал его своему работнику и объявил, что желает поговорить лично о том с господином фон-Тронка. И вот он направился в замок; Фогт последовал за ним, что то ворча себе под нос о жадных загребалах денег и необходимости кровопусканья для подобного рода господ; так, меряя один другого недружелюбными взглядами, вошли они оба в зал.

Случилось так, что помещик на ту пору сидел пируя за кубком, с веселыми приятелями. По поводу какой то прибаутки раздался громкий, раскатистый хохот,—как раз в это время Кольгаас подошел к столу для принесения своей жалобы.

Помещик спросил, что ему надобно. Рыцари, увидев незнакомого человека, умолкли; но не успел Кольгаас и заикнуться насчет лошадей, как вся компания, с криком: — «лошади? где они?»—поспешила к окну, чтобы посмотреть на них. Увидев ладный табунок коней, по предложению Венцеля все кинулись вниз, во двор. Дождь утих. Фогт, кастелян и слуги столпились вокруг лошадей и стали их разглядывать со всех сторон.

Один хвалил муругого коня с белою звездочкой на лбу, другому нравилась бурая кобыла, третий поглаживал пегого жеребца в темно-желтых подпалинах; но все, как один, сходились на том, что кони стройностью похожи скорей на оленей, и что в этих краях лучших не встретишь. Кольгаас шутил, что кони то ведь не лучше рыцарей, которым подобает на них ездить, и предложил им купить лошадей. Помещик, которому особенно пришелся по вкусу рослый, рыжегривый жеребец, спросил Кольгааса насчет цены; кастелян предложил рыцарю купить лучше пару вороных, которых за недостатком рабочих ло-

шадей он мог бы кстати использовать по хозяйству; но, когда конноторговец объявил свою цену, рыцари нашли ее слишком высокой, при чем помещик заметил, что коневоду, видно, придется отправиться к рыцарям Круглого Стола на розыски короля Артура, если он так дорого запрашивает за своих лошадей. Кольгаас, заметив перешептыванье фогта с кастеляном, столь выразительно поглядывавших на вороных, из какого то тайного предчувствия решился на все, лишь бы только сбыть лошадей. Он обратился к помещику:

— Сударь, этих вороных шесть месяцев тому назад я купил за двадцать пять гульденов золотом: давайте уж тридцать и забирайте себе.

Двое рыцарей, стоявших рядом с Венцелем, ясно давали понять, что кони, конечно, того стоят, но помещик объявил, что готов уж скорей затратиться на муругого, но никак не на вороных, и стал было собираться уходить. Тогда Кольгаас выразил надежду, что, может быть, они сторгуются в следующий раз, когда он будет опять проезжать мимо со своими лошадьми. Откланявшись хозяйну замка, он взялся было за поводья, собираясь продолжать путь. В это время из толпы выступил фогт и крикнул ему: «слышишь, без пропуска ехать не смей!» Кольгаас, обернувшись, спросил помещика, действительно ли существует постано-

вление, которое в корне препятствует его промыслу. Вендель, со смущенным видом, торопясь уйги, ответил:—«Да, Кольгаас, пропуск надо будет достать. Поговори о том с фогтом и отправляйся своей дорогой».

Кольгаас заверил его в том, что и в помыслах не имеет обходить постановления, касающегося торговли лошадьми, и обещал при проезде через Дрезден выправить себе бумагу в ратуше, и просил пропустить его на этот раз в виду полного его неведения насчет новых требований.

— Ну! — сказал помещик, — в это время опять поднялся сильный ветер, пронизавший холодом его зябкое тело,—так уж и быть,—пропустить эту обжорную команду. Идем!—обратился он к рыцарям и, повернувшись, хотел было направиться в замок.

Тут фогт, обратясь к хозяину, заметил, что Кольгаас должен, по крайней мере, оставить что нибудь в залог, в обеспечение доставки пропуска. Помещик остановился в воротах замка. Кольгаас спросил, сколько же ему следует оставить деньгами или вещами за провод лошадей. Кастелян, ворча себе что то в бороду, надумал, что можно было б оставить вот этих самых вороных.

— Конечно,—подтвердил фогт,—это самое верное: только выправит пропуск, и во всякое время может явиться за ними.

Изумленный столь наглым требованием, Кольгаас напомнил помещику, который, дрожа от стужи, закутывал плотнее камзолом живот, что ведь вороных то своих он собирался продавать. В это время резкий порыв ветра нагнал в ворота целую гущу дождя и града, и дабы поскорей покончить с этим делом, фон-Тронка крикнул:

— Если не желает расставаться с лошадьми, — вышвырнуть его назад за шлагбаум!

Тут конноторговец, прекрасно сознавая, что ему ничего больше не остается, как уступить насилию, решил исполнить их требование: он отвязал вороных и отвел их в конюшню, указанную ему фогтом. Оставив при них своего работника, он снабдил его деньгами, умоляя его, как можно лучше беречь лошадей до его возвращения. Затем, раздумывая, не появилось ли и вправду в Саксонской области подобного распоряжения в виду разрастающейся теперь повсюду конноторговли, двинулся с остальной своей партией коней по дороге на Лейпциг, куда ему непременно хотелось попасть на предстоящую ярмарку.

По прибытии в Дрезден, — где в одном из предместий города был у него постоялый двор, так как ему отсюда было сподручней вести торговлю на более мелких рынках в соседней округе, — он немедля отправился в ратушу. Здесь от знакомых ему служилых людей он

узнал, да и раньше ему самому приходило в голову, что все эти пропуска — сплошная басня. Кольгаас, раздобыв от ворчливых, угрюмых чиновников письменное свидетельство в неосновательности требования пропуска, посмеивался уже над выдумкой этого тощего помещика, хотя и не представлял себе в точности, какую цель мог иметь тот в данном случае. Спустя несколько недель, продав удачно партию приведенных им лошадей, пустился он в обратный путь на Тронкенбург почти без всякой досады, раздумывая лишь о всеобщей нужде да несправедливости, царящей на этом свете. Фогт, которому он без дальнейших разговоров, представил свидетельство, на вопрос конноторговца, может ли он теперь получить обратно своих вороных, отвечал: «спустя де отправится на конюшню и заберет их назад». Но Кольгаас, проходя по двору, успел уже узнать о неприятности, происшедшей с его работником, который, спустя несколько дней после своего пребывания в Тронкенбурге, был избит и выгнан из замка за яко бы непристойное поведение. Он стал расспрашивать у парня, сообщившего ему эту новость, что же такое натворил его работник, и кто смотрел за лошадьми это время? Тот отвечал, что ему об этом ничего не известно, и стал открывать ворота конюшни. У Кольгааса сердце защемило от недобрых предчувствий.

Как велико, однако, было его изумление, когда вместо пары своих сытых, холеных вороных увидел он тощих, заезженных кляч: ребра торчали у них, точно колья, на которых хоть сбрую вешай; шерсть и гривы без заботливого ухода закошлатились—подлинная картина горя-злосчастия в царстве животном! Увидя хозяина, лошади, чуть вздрогнув, заржали ему навстречу. Кольгаас при виде их пришел в крайнее негодование и спросил, что это сделали с его конями. Парнишка ответил, что с лошадьми никакой особенной беды не случилось: корм свой они получали как следует, вот разве что, в виду подоспевшей в то время жатвы, ими маленько пользовались за нехваткой в рабочем скоте на полевых работах. Кольгаас разразился проклятиями по поводу столь бесстыдного и обдуманного самоуправства, но, сознавая полную свою беспомощность и затаив в душе злобу, стал было уже собираться,—больше ему ничего не оставалось, как поскорей выбраться с лошадьми из этого разбойного гнезда,—вдруг является фогт, привлеченный этой перебранкой, узнать, в чем тут дело.

— В чем дело? — переспросил Кольгаас, — а кто это дал право господину фон-Тронка и его людям брать на полевые работы оставленных мной вороных?

Тут он прибавил насчет бесчеловечности подобного обращения и попробовал было

ободрить заморенных лошадей ударом кнута, но те и не двинулись с места.

Посмотрев на него в упор, фогт зашумел:

— Вишь, какой грубиян! Надо бы тебе, дураку, еще бога молить, что клячи твои не подошли? Небось, и не спросит, кому было за ними ходить, когда его работник сбежал? Разве не справедливо, что кони отработывали свой корм на полевых работах?

В заключение он посоветовал конноторговцу лучше прекратить пререкания, иначе он, мол, кликнет собак и сумеет ужó водворить порядок во дворе.

Так и ёкнуло сердце у Кольгааса. Так и забилося желаньем бросить этого толстопузого негодяя в грязь, ударить ногой в медную его рожу. Однако, присущее ему чувство справедливости, точно золотые весы, еще колебалось: он еще не был точно уверен, тяготеет ли вина на его противнике; и, подавив в себе гнев и готовую вырваться из уст его брань, он подошел к лошадям и, раздумывая насчет обстоятельств, стал молча расправлять им гривы и голосом упавшим спросил, за какой же такой проступок был удален из замка его работник.

— Да этот негодяй вздумал ослушаться! — отвечал фогт; — за то, что заартачился против того, чтобы поменяться конюшными, и требовал, чтобы лошади двух молодых рыцарей,

прибывших в Тронкенбург, ночевали бы из за его кляч под открытым небом.—

Кольгаас готов был пожертвовать лошадьми, лишь бы иметь сейчас под рукой работника и сравнить его показания с объяснением этого толстопузого фогта. Он все продолжал стоять, разглаживая лошадям чолки, и размышляя, как лучше поступить ему в данном случае, вдруг картина резко изменилась: господин Венцель фон-Тронка с толпою рыцарей, слуг и борзых влетает во двор замка, возвращаясь с травли на зайцев. На его вопрос что тут случилось, фогт тотчас стал докладывать. При виде чужого человека, собаки залились диким лаем, рыцари велели доезжачим унять их, а фогт тем временем представил дело в нарочито искаженном виде.

— Бунтует, мол, этот коневод, и все из за того, что его вороны были немного взяты в работу.

И, язвительно посмеиваясь, прибавил, что Кольгаас де отказывается признать теперь этих лошадей за своих.

— Это не мои лошади, сударь! Это не те лошади, что стояли тридцать гульденов золотом! Я желаю получить назад моих сытых и здоровых лошадей!

Внезапной бледностью покрылось лицо Венцеля. Он сошел с коня, и сказал:

— Если эта сволочь, кобылья ж... не желает брать назад своих лошадей,— пусть оставляет их здесь.— «Айда, Гюнтер! Ганс! Идем!»— крикнул он, смахивая рукой пыль со штанов; затем:

— Подать вина! — прибавил он, проходя с рыцарями в сенях, и вошел в замок.

Кольгаас объявил, что готов скорее призвать живодёра и бросить лошадей на свалку, чем вести их в таком виде, как они есть, в свою конюшню, в Кольгаасенбрюк. Оставив вороных там, где они стояли, он поклялся, что сумеет защитить свои права, вскочил на карого, и ускакал прочь из замка.

Пришпоривая во всю мочь коня, мчался он уже по дороге на Дрезден, как вдруг, вспомнив о работнике и принесенной на него жалобе, осадил коня и поехал шагом. Но не успел конь пройти и тысячи шагов, как снова он повернул его по направлению к Кольгаасенбрюку, решив лично произвести допрос своему работнику, по собственному разумению и справедливости. Под влиянием этого чувства, всегда откликавшегося на всякую мирскую неправду, несмотря на перенесенные оскорбления, Кольгаас готов был уже примириться с утратой лошадей в том случае, если бы, как то утверждал фогт, работник действительно в чем либо провинился. Но против

этого обвинения в нем говорило какое то особое предчувствие, и оно укреплялось в нем все сильней и сильней по мере того, как он подъезжал ближе к дому. Всюду на постоянных дворах узнавал он о неправде, что ни день творимой в Тронкенбурге по отношению к проезжим; и чувство это подсказывало ему, что если дело, как по всему видно, было просто злодеянием, он дает слово, поклявшись всем святым, всеми силами добиться удовлетворения за понесенную им обиду и предотвратить подобного рода издевательства по отношению своих сограждан на будущее время.

Приехав в Кольгаасенбрюк, едва успев обнять верную свою жену Лизбет, расцеловать детей, радостно прыгавших у его ног, он немедленно осведомился о старшем работнике Херзе—не слышали ли чего о нем.

— Да, милый Михель, уж этот несчастный Херзе!—отвечала Лизбет.—Представь себе, вернулся он домой две недели тому назад, избитый до полусмерти; нет—избитый до такой степени, что не мог даже и вздохнуть. Мы, конечно, уложили его в постель; началось у него сильное кровохарканье; затем, в ответ на наши многократные расспросы, узнаем какую то непонятную историю. Он рассказал, как ты оставил его в Тронкенбурге с лошадьми, которых не пропустили через заставу; как затем,

бесчеловечно избив, выгнали из Тронкенбурга, и как не было у него ни малейшей возможности забрать с собой лошадей.

— Вот как? — сказал Кольгаас, снимая дорожный плащ. — Что же он поправился уже?

— Кровохарканье почти что прошло, — отвечала Лизбет, — я хотела немедленно послать конюха в Тронкенбург, чтобы было кому присмотреть за лошадьми до твоего приезда. Херзе всегда казался таким правдивым и беспримерно преданным нам, что мне и в голову не приходило усумниться в его словах, к тому ж так явно подтвержденных, и заподозрить его в том, что лошади пропали какнибудь иначе. Но он стал умолять меня не посылать никого в это разбойничье гнездо: лучше уж от лошадей отказаться, чем жертвовать ради них человеком.

— Что он еще в постели? — спросил Кольгаас, развязывая шейный платок.

— Он уже несколько дней, как ходит немного по двору, — да вот ты уж сам все увидишь. Только это все сущая правда, — продолжала она, — это одно из тех насилий, что с недавнего времени ведутся в Тронкенбурге по отношению к чужакам.

— Это я разужнаю, — сказал Кольгаас. — Ну, Лизбет, коли так, позови ка мне его сюда! — С этими словами он опустился в кресло. Хо-

зайка, довольная таким спокойствием мужа, вышла, чтобы позвать работника.

— Что это ты там натворил в Тронкенбурге?—обратился к нему с вопросом Кольгаас, когда Лизбет вошла с ним вместе в комнату,—я что то недоволен тобой.

При этих словах на бледном лице работника пятнами проступил румянец. Он помолчал немного:

— И вы правы, хозяин!—ответил он. Да, серный шнур, который к счастью был при мне, чтобы поджечь это разбойное гнездо, я бросил в воды Эльбы, потому что услышал в то время в замке детский плач. И я подумал: да обратит его в пепел гроза господня; но—не я!

Кольгаас, немало изумившись, продолжал:

— Чем же навлек ты на себя изгнание из Тронкенбурга?

— Из за плохой штуки, хозяин, — ответил Херзе, утирая выступивший на лбу пот.—Но случившегося теперь не вернешь. Я не хотел им позволить заморить наших лошадей на полевых работах: я сказал, что они молоды и еще необъезжены.

Стараясь скрыть волнение, Кольгаас возразил, что в данном случае он сказал не совсем правду: ведь еще в начале прошлой весны они ходили в упряжи:

— Тебе бы следовало, будучи в замке проявить любезность: ты ведь, все таки был

там, как никак гостем,—разок другой можно было помочь в страдное время, тем более, раз была такая нужда в лошадях.

— Да я это и сделал, — живо ответил Херзе.—Заметив их насупленные лица, я подумал: и правда, лошадям это будет нипочем. И вот на третий день, перед полуднем, я запряг их и привез три фуры хлеба.

Кольгаас, сердце которого ширилось, точно готово было выскочить из груди, опустив глаза, заметил:

— Мне однако же о том ничего не сказали! Но Херзе заверил, что говорит правду.

— Нелюбезность моя заключалась в том,— снова начал он,—что я не соглашался дать лошадей в запряжку еще раз, после полудня, когда они только что поели; да вот еще:—фогт и кастелян предложили мне брать корм даром, а деньги, оставленные вами, класть себе в карман. Я посоветовал им так делать,—вернулся и ушел.

— Однако, не из за этой же нелюбезности был выгнан ты из Тронкенбурга?

— Боже упаси! — воскликнул работник, — куда там,—за ужасное преступленье! Вечером в тот самый день на конюшню были поставлены лошади двух приехавших в Тронкенбург рыцарей, а мои вороные были привязаны к дверям конюшни. Я взял тогда коней из рук фогта, который сам же их там поместил,

и спросил, где же им теперь прикажете быть.— В ответ на это он указал мне на свиной хлев, пристроенный из каких то шелевок к замковой стене.

— Ты стало быть полагаешь,—перебил его Кольгаас,—что то помещение было скорей похоже на хлев, чем на конюшню?

— Да это, хозяин, и был то настоящий хлев, действительно, свинушник, где то и дело шмыгали свиньи, и где трудно было стать во весь рост.

— Может быть, негде было пристроить вороных?—возразил Кольгаас:—что ж, рыцарские кони имели до известной степени преимущество.

— Места то и правда,—упавшим голосом ответил работник,—было маловато. В то время в замке гостило семь рыцарей. Ну, если б вы были там, может, и попросили б немного потеснить лошадей. Я сказал, что найму себе конюшню на деревне, но фогт не согласился выпустить лошадей из под своего надзора и запретил мне уводить их со двора.

— Хм! что же ты тогда сделал?

— Так как кастелян заверил, что гости переночуют одну только ночь, а на утро уедут, я и поставил лошадей в хлев. Но прошел целый день, а гости все не уезжали. На третий поутру стало известно, что рыцари пробудут в замке еще несколько недель.

— Пожалуй, Херзе, в хлеву и не было так уж плохо, как это тебе показалось с первого взгляда?— заметил Кольгаас.

— Что и говорить,—я его немного поочистил, и оно вышло не совсем скверно. Я дал скотнице несколько грошей, чтоб она сунула своих свиней куданибудь в другое место. А на следующий день я устроил так, что лошади могли стоять во весь рост; чуть свет я снимал шелевки со стропил, а под вечер снова пристраивал их на крыше. Лошади, как гуси, вытягивали шеи, выглядывая из-под навеса в сторону Кольгаасенбрюка: должно, куда получше.

— Ну, дальше! А за что же, чорт возьми, выгнали то тебя?

— Скажу вам, хозяин, по правде,—хотели от меня отделаться: ведь будь я там, им не удалось бы доканать лошадей. Всюду, на дворе, в людской смотрели на меня как то косо, исподлобья; а я так рассуждал: корчите себе рожи, чтоб вас совсем перекосило! Вот взяли они, да ни с того, ни с сего и вышвырнули меня со двора.

— Ну, а повод то к тому! — крикнул Кольгаас, — у них уж наверно был повод к тому?

— О, разумеется,—ответил Херзе,—и самый что ни на есть справедливейший. На третий вечер, два дня уже пробив в этом хлеву, лошади

загрязнились, и я хотел было поехать их выкупать. Вот въезжаю я в ворота замка, оглядываюсь;—вдруг слышу: фогти кастелян с конюхами, собаками, дреколями вылетают из людской и кричат мне вслед, точно зарезанные:— «Держи этого мошенника! Держите этого висельника!»—Привратник бежит мне наперез. Я обращаюсь к нему и разъяренной толпе, обрушившейся на меня со всех сторон:—«Да в чем дело?»—«В чем дело?»—в ответ на это фогт, хватая моих вороных за поводья:—«куда ты с лошадьми?»—кричит он, схватив меня за грудь.—«Куда?»—говорю я,— да разрази меня господь бог, купать их хочу повесть. Что ж, думаете, что я?»..—«Купать?»— гремит в ответ на это фогт,— «я те—научу, негодяй, плавать по столбовой дороге в свой Кольгаасенбрюк!»

С этими словами он заодно с кастеляном, схватив меня за ногу, сбрасывают, что есть мочи, с коня, и я грохаюсь во весь рост прямо в грязь.—«Убийцы! Дьяволы!»—кричу я им,—«в конюшне то у меня остались подпруги и попоны, да и узел с моими пожитками». А тут, пока кастелян уводит лошадей, фогт и дворня набрасываются на меня с плетьюми и дубинами, топчут ногами, и я почти замертво сваливаюсь по ту сторону ворот. А за то, что кричу им:—«грабители! куда ж тащите моих лошадей?»—и приподымаюсь, фогт орет во всю

глотку:—«Вон со двора! Агу его, Кайзер! Егерь, куси-куси! На-на, шниц!»—И целая свора собак, больше десятка, кидается на меня. Тут выхватил я из плетня жердину, что ли, или что другое, сам не припомню сейчас, только трех псов уложил на месте; но изувеченный, израненный должен был я отступить. Вдруг—тари-ра-ра! —охотничий рожок; собак сзывают во двор, ворота запирают на засов, и я падаю без чувств посреди улицы.

— Ты уж и вправду, Херзе, не задумал ли дать ходу?—с деланным лукавством молвил побледневший Кольгаас.

Как зарево вспыхнул Херзе, опустил глаза.

— Ну, признавайся, — продолжал тот, — не понравилось тебе, небось, в хлеву? Думал, небось, в кольгаасенбрюкских конюшнях лучше?

— Да накажи меня господь,—воскликнул Херзе,—ведь подруги то и попоны да и узел с моим бельем оставил ведь я в хлеву. Да разве б я бросил три гульдена, запрятанные мною в ясли, в красном шелковом шейном платке? Чорт возьми! Если и вы уж так говорите, у меня опять является охота запалить тот серный шнур, который бросил я тогда в Эльбу!

— Ну-ну!—заметил Кольгаас,—я это сказал не всерьез. Смотри, всему, что говорил ты, я верю от слова до слова. Когда будем вече-

рять—пообдумаем; жаль, что тебе так не поздоровилось на моей службе. Ну, иди, Херзе, ложись, да вели подать себе бутылку вина, успокойся: правда восторжествует!

С этими словами он встал, составил опись вещам, оставленным работником в хлеву, назначил им цену. Осведомился, сколько тот считает на расходы по лечению; затем отпустил его, еще раз крепко пожав ему руку.

Затем он рассказал обо всем случившемся жене Лизбет, как все это было,—подробно, объявил ей, что решил добиваться суда, и радостно было ему видеть, что она всей душою сочувствует его намереньям. Она рассуждала так: ведь мимо замка могут проезжать и другие, люди может быть менее терпеливые, чем ее муж; что искоренить подобного рода безобразия—дело угодное богу; что она уж какнибудь да покроет расходы, связанные с ведением дела. Кольгаас назвал ее храброй женой, и весело провел этот и следующий день в кругу семьи, и справившись с хозяйственными делами, двинулся в Дрезден для принесения своей жалобы в суд.

Там с помощью одного знакомого ему ученого правоведа составил он бумагу, в которой, подробно описав предумышленное злодеяние, совершенное помещиком Венцелем фон-Тронка, как по отношению к нему, так и по отношению к его работнику Херзе,—он ходатай-

ствовал о наказании помещика согласно законам, о приведении лошадей в прежний вид и о возмещении убытков, понесенных вследствие того как им, так и его работником. Суть дела была вполне ясна. Факт противозаконного захвата лошадей освещал и другую сторону дела; даже, если допустить, что лошади заболели совершенно случайно, то и тогда требование конноторговца возвратить их здоровыми было все же вполне справедливым.

Оглядевшись в столице, Кольгаас нашел там не мало друзей, обещавших ему горячую поддержку в его деле; обширная конноторговля доставила ему много знакомств, а честность его в торговых делах—расположение влиятельнейших людей в округе. Он не раз запросто обедал у своего адвоката,—человека весьма почтенного; и вот, внеся ему известную сумму денег на ведение процесса, спустя несколько недель, вполне успокоенный им насчет исхода его тяжбы, возвратился он к жене своей Лизбет, в Кольгаасенбрюк. Однако, прошли месяца, скоро и год прошел, а он все еще не имел из Саксонии никаких известий, не говоря уже о резолюции на его жалобу, поданную им собственноручно в трибунал. После новых, неоднократных заявлений в суд, он запросил в частном письме своего адвоката, что причиной такой чрезмерной задержки, и узнал от него, что в жалобе, согласно высшему распоряже-

нию дрезденской судебной палаты, ему совершенно отказано.—На изумленное письмо конноторговца, осведомлявшегося, чем объяснить такой исход дела, адвокат сообщил ему, что помещик Венцель фон-Тронка состоит в родстве с двумя вельможами—Гинцем и Кунцем фон-Тронка, из коих один состоит при особе курфюрста кравчим, а другой в должности камерера.—Адвокат советовал ему какнибудь без дальнейшей судебной волокиты вернуть своих лошадей из Тронкенбурга; дал при этом понять, что господин Венцель, проживающий в настоящее время в столице, отдал повидимому распоряжение, чтобы его люди выдали лошадей конноторговцу; в заключение он просил Кольгааса, если тот не намерен на этом примириться, избавить его от дальнейших поручений по этому делу.

В это время Кольгаас находился в Бранденбурге, где бургомистр Гейнрих фон-Гейзау, к округу которого принадлежал также и Кольгаасенбрюк, был занят в ту пору устройством благотворительных учреждений для бедных и больных, из сумм, доставшихся городу от случайных доходов. Особенно хлопотал он над оборудованием для больных минерального источника, находившегося в одной из окрестных деревень, от которого ждали ббльшей целебности, чем это оправдалось

впоследствии. Во время своего пребывания при дворе по различным делам, ему приходилось встречаться с Кольгаасом, и вот по знакомству бургомистр дал возможность работнику Херзе, страдавшему с того самого злополучного дня болями в груди, испытать силу этого целебного источника, который к тому времени уже был обнесен срубом и покрыт крышей. Вышло так, что бургомистр, собираясь сделать кое какие распоряжения, находился в то время у самого бассейна, в который Кольгаас уложил Херзе; в это время нарочный доставил конноторговцу письмо от жены с печальными вестями от дрезденского адвоката. Беседуя с врачом, бургомистр заметил, что Кольгаас, распечатав письмо, прослезился, и вот он подошел к нему и по дружески, сердечно спросил, какое горе его постигло; на это конноторговец молча подал ему письмо; тогда почтенный бургомистр, зная о возмутительной несправедливости, учиненной над ним в Тронкенбурге, вследствие которой Херзе, может быть, на всю жизнь останется калекой, потрепав Кольгааса по плечу, сказал, чтобы тот не отчаивался; он сам де похлопочет об удовлетворении его жалобы. И вот, вечером, когда Кольгаас согласно его предложению явился к нему в замок, бургомистр велел ему составить прошение на имя курфюрста Бранденбургского,

с кратким изложением всего происшедшего, приложив при этом письмо адвоката и ходатайство о защите против насилия, совершенного над ним в Саксонии. Он обещал передать это прошение вместе с пакетом, приготовленным уже к отправке, в собственные руки курфюрста, который не замедлит ради него передать прошение это курфюрсту Саксонии; этого вполне будет достаточно, чтобы, несмотря на все козни Венцеля и его присных, добиться правосудия в дрезденском трибунале.

Кольгаас, сильно обрадованный этим, сердечно поблагодарил бургомистра за новое доказательство его благосклонности к нему, прибавив, что сожалеет, что вместо всяких попыток в Дрездене он не начал дела прямо в Берлине; затем, составив в секретариате городского суда прошение по надлежащей форме и вручив его бургомистру, вернулся он в Кольгаасенбрюк, более, чем когда либо спокойный за исход своей тяжбы. Однако, несколько недель спустя ему довелось узнать от одного судьи, проезжавшего по делам бургомистра в город Потсдам, что курфюрст передал прошение своему канцлеру графу Кальхейму, и что тот вместо того, чтобы обратиться непосредственно к дрезденскому двору с просьбой о расследовании и наказании насильника, как это казалось бы вполне целесообразным, вошел с представлением

о предварительном опросе Венделя фон-Тронка. Вышеупомянутый судья остановился со своей кибиткой у ворот Кольгааса, очевидно с намерением сообщить ему эту новость: на изумленный вопрос конноторговца, почему поступлено было так, а не иначе, тот не мог дать удовлетворительного ответа. Он прибавил только, что бургомистр велел передать ему, чтобы он отнесся к этому возможно терпеливей: судья видимо торопился и лишь в конце их краткой беседы из нескольких брошенных вскользь фраз Кольгаас понял, что граф Калльхейм находится в свойстве с семейством этих самых фон-Тронка.

Не находя более отрады ни в своем коневодстве, ни в домашних делах, и охладев даже почти к жене и детям, Кольгаас весь следующий месяц провел в мрачном раздумьи о будущем, и, как он и ожидал, по истечении этого времени вернулся из Бранденбурга Херзе, немного оправившись после купаний, и привез ему от бургомистра письмо с приложенным в нем решением суда; бургомистр сообщал, что, сожалея о невозможности чем либо помочь в его деле, он посылает ему направленную на его имя резолюцию государственной канцелярии, а со своей стороны советует взять назад оставленных в Тронкенбурге лошадей, а на самом деле поставить вообще крест. Резолюция гласила:

«По сведениям, имеющимся в дрезденском трибунале, Кольгаас—пустой сутяга; помещик, у которого он оставил лошадей, их у себя ни в коем случае не задерживает; пусть Кольгаас пошлет за ними в замок, или, по крайней мере, даст знать помещику, куда тот должен их доставить; государственная же канцелярия, во всяком случае, просит уволить ее от подобного рода сплетень и дрызг».

Кольгаас, получив это письмо, пришел в ярость: дело было не столько в лошадях—он огорчился бы не менее, если бы то касалось даже какойнибудь пары собак. Заслыша малейший шум во дворе, он оглядывался, тревожно всматриваясь на заставу с таким томительным ожиданием, какого раньше никогда не знавала его грудь, все думая, не появятся ли слуги Венцеля и, чего доброго, с извинением возвратят ему голодных и заморенных лошадей: то был единственный случай, когда его душа, хорошо знавшая этот мир, готова была ждать от людей чего то доброго. Но вскоре он узнал от одного проезжего своего знакомого, что лошади его в Тронкенбурге попрежнему работают на поле наравне с лошадьми помещика; чувствуя всю людскую несправедливость, у Кольгааса блеснуло внутреннее довольство при сознании своей собственной порядочности. Он пригласил к себе старосту, своего соседа, давно уже помышлявшего о расширении своих

владений прикупкой поземельного участка, прилегавшего к их меже; усадив его в кресло, Кольгаас спросил, сколько бы он дал за бренбургские и саксонские его хутора, за дом и двор, за все, как оно есть, гуртом. Побледнела Лизбет, услыша такие речи. Она обернулась, взяла на руки младшего своего сына, игравшего подле нее на полу, с тревогой посматривая то на краснощекого мальчугана, игравшего ее ожерельем, то на мужа, бросившего на пол письмо, которое до этого времени держал он в руках. Староста, поглядев на него удивленно, спросил, что привело его вдруг к такому странному решению; Кольгаас с напускной веселостью ответил, что мысль продать свой хутор на берегу Гавеля не так уж нова; они ведь и раньше частенько о том поговаривали; да и дом его в дрезденском предместьи по сравнению с этим, если пораздумать хорошенько, пожалуй, и лишний; ну, одним словом, если сосед согласен на предложение взять оба земельных участка, он готов тотчас составить купчую. И с натянутой шутивостью заметил, что, ведь, на Кольгаасенбрюке то не весь свет клином сошелся; бывают задачи, по сравнению с которыми домашнее хозяйство и семейная жизнь могут показаться вещью второстепенной и ничтожной; одно можно сказать—душа его теперь направлена на высокие дела, о которых, может

быть, он и услышит в недалеком будущем. Успокоенный таким объяснением, староста, обратившись к жене Кольгааса, которая не отрываясь целовала ребенка, заметил, что, пожалуй, от него не потребуют всех денег тотчас; и положив на стол шапку и палку, которую держал между колен, взял бумагу из рук конноторговца с тем, чтобы прочесть ее. Кольгаас, подвинувшись к нему, объяснил, что запродажная написана им на-черно, сроком всего на четыре недели; указал, что составлена она правильно и что недостает лишь подписей, да указания суммы, как по самой запродажной, так и неустойки, которую он берет на себя, если в течение четырех недель вздумает, в случае чего, отказаться от этой сделки; затем он еще раз торопливо предложил соседу назначить свою цену, уверяя, что не запрашивает, чтоб не усложнять дела большими хлопотами. Жена беспокойно ходила по комнате взад и вперед; грудь ее от волнения то высоко подымалась, то, казалось, она задерживала дыхание; платок, в который вцепился мальчуган, вот-вот готов был упасть с ее плеч.

Староста заявил, что о стоимости дрезденского хутора ему судить трудновато; в ответ на это Кольгаас, показывая ему купчую на хутор, сказал, что отдает его за сто гульденов золотом, хотя ему самому он стоил

почти вдвое дороже. Перечтя еще раз запродажную запись, староста нашел, что право отказа от покупки обусловлено в ней черезчур свободно, и готовый почти уже согласиться, заметил, что ведь таким образом конноторговец лишает себя возможности пользоваться своими заводскими лошадьми, находящимися на хуторских конюшнях; Кольгаас возразил на это, что продавать лошадей он отнюдь не намерен, и что, кроме того, желает сохранить за собой часть оружия, хранимого в кладовой; и вот, — все как будто бы раздумывая и медля, — покупатель предложил наконец ту цену, которую не задолго перед тем, полусуто, полусерьезно, — сущий пустяк по сравнению с действительной стоимостью хутора, — давал Кольгаасу однажды во время прогулки. Кольгаас подвинул ему чернила и перо; не доверяя собственным своим глазам, сосед еще раз переспросил его, серьезно ли его намерение, на что конноторговец несколько обиженно ответил, чего же, дескать, он будет шутить в таком деле. Тогда сосед, призадумавшись, взял перо и подписал запродажную, вычеркнув в ней, однако, тот пункт, в котором говорилось о неустойке в случае, если бы продавец захотел впоследствии расторгнуть договор; затем, обязавшись внести сто гульденов золотом в счет дрезденского хутора, он предоставил Кольгаасу пол-

нейшую возможность отказаться от продажи его в течение двух месяцев.

Тронутый таким отношением старосты, коноторговец от всей души пожал ему руку и, договорившись затем насчет главного условия, а именно, чтобы четвертая часть была уплачена немедленно наличными, остальные же деньги в течение трех месяцев внесены в Гамбургский банк, потребовал вина, — выпить маленько по поводу столь удачно совершенной сделки. Через работницу, принесшую вино, он велел передать конюху Штерибальду, чтобы тот немедля седлал каурого: объявив, что ему необходимо отправиться по делам в столицу, намекнув при этом, что вскоре по возвращении выскажется откровенней насчет того, что должен до поры до времени держать в тайне. Затем, наполняя кружки вином, стал расспрашивать насчет поляков и турок, враждовавших в то время между собой, и тем самым вовлек старосту в политику; затем выпив еще раз за успех их сделки, они попрощались.

Только староста вышел из комнаты, как Лизбет упала на колени перед мужем.

— Если ты сколько нибудь любишь меня и детей, если мы не стали чужими твоему сердцу, — скажи мне, что значат все эти ужасные распоряжения?

Кольгаас сказал:

— Пока, милая жена, ничего такого, что могло бы тебя тревожить. Я получил резолюцию, в которой жалоба моя на помещика Венцеля фон-Тронка признана за пустую клевету. Тут, очевидно, какое то недоразумение; вот я и решил еще раз подать жалобу самому курфюрсту.

— Зачем же ты хочешь тогда продавать свой дом?—подымаясь с тревожным лицом, воскликнула она. Кольгаас нежно прижал ее к себе.

— Потому, милая Лизбет, что не могу я оставаться в той стране, где не защищают мои права. Уж лучше быть последней собакой, чем человеком, которого попирают ногами! Я уверен, что жена разделяет мои мысли.

— Откуда же ты знаешь, что тебя не станут защищать в твоих правах?—робко заметила она;—если ты, как это тебе и подобает, явишься со скромной просьбой к курфюрсту: почему ты думаешь, что на нее не обратят внимания или откажутся выслушать тебя?

— Ну, ладно,—отвечал Кольгаас,—если опасения мои в данном случае окажутся неосновательны, ведь и дом то мой еще не продан. Сам курфюрст, как известно, человек справедливый; если мне только удастся через его придворных добиться аудиенции, я не сомневаюсь, что найду правду. — Да не пройдет

и недели, как радостный вернусь я снова к тебе и прежней своей работе. И тогда уж,— прибавил он, целуя ее, — всю жизнь не уйду никуда от тебя!—Во всяком случае,—продолжал он, — благоразумней быть готовым ко всему; вот почему хотелось бы мне, что бы ты на некоторое время, если возможно, уехала с детьми к своей тетке в Шверин, — ты, кстати, ведь давно уж собиралась навестить ее.

— Как? — воскликнула хозяйка, — мне... ехать... в Шверин? С детьми... через границу...—к тетке, в Шверин?—от ужаса у нее даже дух захватило.

— Во что бы то ни стало, и если можно, то немедленно, чтобы ничто не мешало моим делам.

— О, я понимаю тебя! Теперь тебе ничего не надо, кроме оружия и коней, а остальное пусть забирает, кому не лень?—С этими словами она отвернулась, кинулась в кресла и залилась слезами.

— Милая Лизбет, — заговорил смущенный Кольгаас, — что с тобой? Господь наградил меня женой и детьми, имуществом, неужто мне сегодня впервой придется желать, чтобы то было иначе?..—Он ласково подсел к ней, и она, услыша его слова, раскрасневшись, крепко обняла его.

— Ну, скажи мне, — обратился он к ней, откидывая со лба ее вьющиеся волосы,—

что же мне делать? Бросить начатое дело? Ехать в Тронкенбург, просить помещика вернуть мне лошадей, привести их домой?

Лизбет, не решаясь вымолвить — «да, да, да!» — только, тихо плача, качала головой, крепко прижавшись к нему, осыпала грудь его горячими поцелуями.

— Ну, вот! — воскликнул Кольгаас, — если ты чувствуешь, что для того, чтобы мне продолжать коневодство, я должен быть удовлетворен в своих правах, то не лишай меня свободы, необходимой для того, чтоб добиться этого права! — с этими словами он встал, приказал конюху, доложившему, что каурый стоит уже оседлан: на следующий день заложить гнedyх, чтоб отвезти хозяйку в Шверин.

Лизбет сказала: — «Мне в голову пришла одна мысль!» — она встала, вытерла слезы и спросила мужа, который в это время принялся разбирать свои бумаги за конторкой, не согласится ли он вместо себя отпустить ее в Берлин для вручения прошения курфюрсту. Растроганный этим предложением, Кольгаас усадил ее к себе на колени и сказал: — «Но, милая моя Лизбет, это вряд ли возможно! Ведь, курфюрст окружен целою свитой придворных, человек, пытающийся проникнуть к нему, может подвергнуться многим неприятностям». Лизбет возразила на это, что жен-

щине в тысячу раз легче добиться у него аудиенции.—«Давай мне прощение,—повторила она;—если тебе нужно только, чтобы оно передано было в его руки, я ручаюсь— он получит его!»—Зная на опыте об ее мужестве и уме, Кольгаас спросил, как же она думает все это выполнить. Она, опустив смущенно глаза, отвечала, что кастелян курфюрстовского замка, в бытность свою на службе в Шверине, сватался однажды за нее и что, хотя он в настоящее время и женат, и уже отец многочисленного семейства, но он все-таки ее еще не совсем забыл;—одним словом она просила его предоставить ей использовать для дела то или иное обстоятельство, описывать какое было бы слишком долго. Кольгаас радостно поцеловал ее, сказав, что принимает ее предложение; объяснил, что весьма важно было бы остановиться непременно у жены кастеляна—тогда она сможет повидать курфюрста в самом замке,—отдал ей прощение, велел запречь гонимых и, снарядив ее в путь-дорогу, отпустил вместе со Штернбальдом, верным своим работником.

Но путешествие это, из всех безуспешных попыток добиться правды, оказалось самым несчастным. И действительно, несколько дней спустя Штернбальд въезжал во двор, ведя лошадей под уздцы; в кибитке лежала хозяйка, опасно раненая в грудь. Подойдя к ней, побледнев-

ший Кольгаас ничего не мог добиться толком насчет причины происшедшего несчастья. По словам работника, приехавши в город, дома кастеляна они не застали; пришлось тогда остановиться в гостинице, неподалеку от замка. На следующее утро Лизбет вышла из гостиницы, приказав работнику оставаться при лошадях, и вот в каком виде вернулась только под вечер. Она, видимо, слишком смело добивалась встречи с курфюрстом и без ведома последнего ей был нанесен удар в грудь древком копья одним из чересчур усердных стражей. По крайней мере, так говорили люди, принесшие ее вечером в гостиницу в бессознательном состоянии. Вследствие сильного кровотечения из горла, сама она мало могла что объяснить. Прошение к курфюрсту было принято потом одним из рыцарей. Штернвальд рассказал, что он хотел было тотчас скакать домой, чтобы сообщить о случившемся несчастье; но хозяйка, несмотря на все доводы приглашенного к ней хирурга, настояла на том, чтобы ее без всяких предварительных извещений отвезли к мужу в Кольгаасенбрюк.

Кольгаас бережно уложил в постель совершенно изнуренную дорогой жену; дышать ей было мучительно трудно; в таком тяжелом состоянии она прожила еще несколько суток. Тщетно старались привести ее в сознание,

чтобы добиться хоть какогонибудь объяснения по поводу всего происшедшего; она лежала с остановившимися, помутневшими уже глазами и ничего не могла ответить. Лишь незадолго до смерти к ней снова вернулось сознание. Когда лютеранский пастор (надо сказать, что, следуя примеру своего мужа, она перешла в это новое, возникшее тогда вероисповедание), стоя у ее постели, громким торжественным голосом читал ей главу из Библии, вдруг она взглянула на него мрачным взором, взяла у него из рук Библию, точно ей нечего было слушать оттуда, и стала перелистывать страницы, как бы ища чего то. Затем пальцем указала стоявшему у ее изголовья Кольгаасу на стих: «прощайте врагам вашим; благотворите ненавидящим вас», — посмотрев при этом на него проникновенными глазами, она пожала ему руку, и скончалась. — Кольгаас подумал: «пусть господь бог никогда не простит мне грехов моих, как я продаю их Венделю!» Он поцеловал ее, по щекам его потекли обильные слезы, он закрыл ей глаза, и вышел из горницы. Затем взял он сто гульденов золотом, уже заготовленные для него старшиной в уплату за дрезденские конюшни, заказал похороны, которые, казалось, были устроены скорее для какойнибудь княгини, чем для жены его, простой крестьянки: дубовая домовина, крепко обшитая металлом, шел-

ковая подушка с золотыми и серебряными кистями и могила в восемь локтей глубины, выложенная булыжником и известняком. Он сам стоял у края могилы, держа младшего сына на руках, и присматривал за работой. Когда настал день похорон, белая, как снег, покойница была вынесена в горницу, затянутую по его распоряжению черным сукном. Не успел пастор закончить надгробного слова, как Кольгаасу вручили резолюцию курфюрста, на просьбу, поданную его женой. В резолюции этой говорилось, чтобы он забрал своих лошадей из Тронкенбурга и, под страхом тюремного заключения, прекратил бы это дело. Кольгаас, сунув в карман бумагу, велел ставить домовину на дроги. Как только накидали могильный холм, поставили крест и отпущены были похоронные гости, он еще раз поклонился ее опустевшему ложу, и немедленно принялся за дело возмездия. Он сел и составил приговор, в котором, собственной своей волей, обязывал помещика Венделя фон-Тронка в течение трех дней по получении сего привести в Кольгаасенбрюк вороных, которых тот у него отобрал и заморил на полевых работах, и чтобы откормил он их самостоятельно на его конюшнях. Это решение он послал с верховым, наказав ему немедленно по передаче письма скакать обратно в Кольгаасенбрюк. Прошло три назначенных дня,

но лошади не были возвращены. Тогда позвал он Херзе; рассказал ему о приговоре, посланном Венцелю, обязывавшем последнего откормить вороных; затем намеками выспросил Херзе, готов ли он скакать вместе с ним в Тронкенбург, чтобы притащить сюда Венцеля; готов ли он проучить его кнутом на кольгаасенбрюкских конюшнях, ежели тот станет медлить в исполнении поставленного ему требования.

Смекнув, в чем дело, Херзе так и завопил:— «Да, хоть сегодня же;»—и в знак согласия, подбросив вверх шапку, сказал, что уж закажет сплести себе добрую плеть с десятью узлами, чтоб выучить помещика работать скребницей! Тогда Кольгаас продал дом, детей отослал лошадьми за границу, с наступлением ночи призвал он остальных своих семерых работников, беззаветно преданных ему, вооружил их, посадил на коней и двинулся с ними на Тронкенбург.

С этой вот небольшой ватагой и ворвался он в замок с наступлением третьей ночи, сбив по пути с ног сборщика пошлин и привратника, мирно беседовавших у ворот. Среди громкого треска подоженных барачков, окружавших замок, Херзе бросился по винтовой лестнице в башню и набросился с кулаками на фогта и кастеляна, которые в это время благодушно заседали полураздетые за карточ-

ной игрой; тем временем Кольгаас устремился в замок к помещику Венцелю. Так спускается с неба ангел правосудия; как раз на эту пору помещик под дружный хохот читал вслух компании собравшихся у него друзей—приятелей приговор, присланный Кольгаасом. Не успев хорошенько разобрать криков фогта на замковом дворе, как, смертельно побледнев, поняв, в чем дело, с криком:—«Братцы, спасайся!»—тотчас скрылся из виду. Схватив за грудь попавшегося ему навстречу дворянина Ганса фон-Тронка, Кольгаас швырнул его в угол с такою силой, что размозжил череп несчастного о каменные плиты пола. Пока работники справлялись с остальными рыцарями, успевшими кое как взяться за оружие, Кольгаас допытывался, где же сам Венцель фон-Тронка? Оторопевшая компания ничего не могла ему толком ответить; он в ярости вышиб ногою двери в покоях, которые вели в боковые башни замка. Исколесив все обширное здание и, не найдя никого, с проклятием спустился он во двор, приказав стеречь выходы. Меж тем пламя, охватившее все постройки, перекинулось на самый замок и боковые флигеля, и они ярко запылали, вознося к небу огромные, густые клубы дыма. Штернбальд вместе с тремя другими, не менее проворными работниками тащили второпях все, что попадалось под руку, что не было

прибито железными заклепками и гвоздями, и сваливали в кучу около коней, готовя себе славную добычу; в это время из раскрытых окон башни при радостных криках Херзе, вылетели тела фогта и кастеляна заодно с их женами и детьми. Спускаясь с замковой лестницы, Кольгаас встретил скрюченную ломотой старуху-ключницу, которая вела помещицье хозяйство; она бросилась в ноги конноторговцу: приостановившись на ступеньках лестницы, он спросил у нее, где скрывается Вендель фон-Тронка? Дрожащим, испуганным голосом она отвечала: «Должно быть, в капелле». Кольгаас крикнул двух работников с факелами и, за неимением ключей, распорядился открыть вход в часовню ломами и топорами. Перевернув вверх дном весь алтарь и скамьи, он, к ярому своему огорчению, не нашел там никого. Выходя из часовни, он наткнулся на молодого конюха из числа тронкенбургской дворни, спешившего вывести ратных коней своего господина из дальней каменной конюшни, которой уже угрожало пламя пожара. Как раз в этот момент Кольгаасу бросились в глаза оба его вороных, стоявшие в небольшом сарае под соломенной крышей; он спросил тронкенбургского конюха, отчего тот не спасает этих коней. Сунув ключ в ворота конюшни, тот отвечал, что сарай уже захвачен пламенем; тогда Кольгаас

вырвал у него ключ, бросил через забор, и, подгоняя барского конюха ударами шпаги, сыпавшимися на него точно град, загнал его в горевший сарай и среди жестокого хохота окружавшей дворни заставил его таки спасти вороных. Слуга обомлел от страха; сарай рухнул несколько мгновений спустя после того, как он выскочил оттуда, ведя под уздцы лошадей Кольгааса. Но того и след простыл; молодой конюх отправился на замковый двор, куда сбежалась и остальная дворня; найдя Кольгааса, он обратился к нему с вопросом, куда ему теперь девать лошадей.—Тот упорно не отвечал: наконец, со свирепым видом занес он ногу в стремя, рискуя, оступившись, заплатить жизнью, и вскочил на своего карего, так и не ответил слуге на его вопрос. Расположившись под воротами замка, Кольгаас, стал дожидаться рассвета, меж тем как работники его продолжали начатое им дело. И вот когда настало утро, весь замок уже сгорел до-гла, и кроме Кольгааса да его семейных работников там никого не осталось. Он сошел с коня и при ярком свете утреннего солнца снова обшарил все закоулки; тяжело ему было убедиться, что нападение его на замок оказалось столь неудачным. Удрученный горем, с тяжелым чувством на душе, решил он отправить Херзе с несколькими работниками на розыск бежавшего помещика.

Особенно ему внушал подозрение богатый девичий монастырь Эрлабрунн, расположенный на берегу реки Мульты, настоятельницей которого была госпожа Антония фон-Тронка, слышшая всюду за смиренную, добродетельную и святую женщину; несчастному Кольгаасу казалось вполне естественным, что помещик, избежав опасности, скрывается в этом монастыре, настоятельницей которого, кстати сказать, была родная его тетка и воспитательница. Узнав об этом, Кольгаас, поселился в башне фогта, в которой случайно уцелела от пожара комната, пригодная для жилья; он составил там, так называемый «Кольгаасовский указ», в котором он предлагал жителям этой области не оказывать помещику Венцелю фон-Тронка, с которым он находится в открытой войне, никакой поддержки, даже больше того, обязывал всякого, хотя бы и состоящего в дружбе или родстве—выдать ему помещика, под страхом смерти и неминуемого уничтожения всего, что может быть названо имуществом. Этот указ он распространил по округе через проезжих людей; кроме того, он дал работнику своему Вальдманну копию с него, приказав доставить ее в Эрлабрунн, в собственные руки госпоже Антонии. Затем, сговорившись с несколькими тронкенбургскими работниками, недовольными помещиком, которые пожелали, в расчете на

поживу, перейти к нему на службу, он вооружил их на манер пехоты самострелами и кинжалами, обучил их сидеть на коне позади всадников; затем обратив всю добычу в деньги и разделив ее поровну между своей дружиной, он решил отдохнуть несколько часов от печальных своих трудов под замковыми воротами.

К полудню прибыл Херзе и подтвердил то, что и раньше чуяло сердце Кольгааса, настроенного теперь на все мрачное, а именно что помещик действительно находится в Эрлабрунском монастыре у своей тетки, старухи Антонии фон-Тронка. Вероятно, он бежал через потайной ход, устроенный в задней стене замка, а оттуда пробрался по узкой каменной лестнице, сбегавшей под навесом к берегу Эльбы, где стояли на причале челны. По крайней мере Херзе сообщал, что помещик, как рассказывали ему о том крестьяне, сбежавшиеся поглазеть на пожар в Тронкенбурге, прибыл к немалому их удивлению в полночь, в лодке без руля и без весел, и тотчас на крестьянской телеге отправился дальше в сторону Эрлабрунна.

Услышав об этом, Кольгаас глубоко вздохнул; он спросил, накормлены ли лошади и, получив утвердительный ответ, велел своей ватаге седлать коней и через три часа был уже у стен Эрлабрунна.

Под ворчливый говор отдаленного грома, с зажженными факелами въехал он со своим отрядом во двор монастыря; работник Вальдманн выбежал к нему навстречу и доложил, что указ уже передан им по назначению; в это самое время он заметил в монастырском портале настоятельницу, растерянную, ведущую какие то переговоры с келарем; и пока этот маленький седовласый старичок, гневно метнув глазами на Кольгааса, облачался в латы, и смелым голосом отдавал слугам приказ ударить в набат, на паперти появилась игуменья монастыря, держа в руках серебряное распятие, вся бледная, как полотно; она сошла с паперти и вместе со своими молодыми монашенками кинулась на колени перед конем Кольгааса. Пока Херзе и Штернбальд вязали келаря, еще не успевшего схватить меч в руки и, в качестве пленника, отвели и поставили его между коней, Кольгаас обратился к ней с вопросом:—«Где Вендель фон-Тронка?»—Она, снимая с пояса большую связку ключей, отвечала:—«В Виттенберге, почтеннейший Кольгаас!»—и дрожащим голосом прибавила:—«бога побойся, не твори неправды!»—

Кольгаас, сгорая от жажды мести, повернул коня и готов был уже крикнуть: «поджигай!», как вдруг молния, сопровождаемая раскатами грома, ударила в землю прямо около него. Кольгаас поворотил коня к игуменье, и спро-

сил ее, получила ли она его указ; та слабым, еле слышным голосом отвечала: — «Только что!»

— Когда?

— Господи спаси и помилуй, клянусь— два часа спустя после отъезда моего родственника фон-Тронка,—и Вальдмани, работник, к которому он обратился с грозным видом, запинаясь, подтвердил это,—объяснив, что из за разлившейся вследствие ливня Мульды он смог только что прибыть сюда. С трудом овладел собою Кольгаас; вдруг набевшим страшным ливнем потушило факелы; и, зашумев по каменным плитам двора, точно утишило боль в груди несчастного Кольгааса; обернувшись к игуменье, он приподнял слегка шляпу, пришпорил коня, и со словами:— «Братцы, за мной! Наш мблodeц должно в Виттенберге!»—выехал со двора.

Наступала ночь, и ему пришлось завернуть в корчму на шляху, чтобы дать день на отдых усталым коням, и ясно ему стало, что с отрядом из десятка людей (таковы были его теперешние силы) ему не справиться в Виттенберге; и вот он составил второй указ, в котором вкратце изложив все, что ему пришлось испытать, приглашал «каждого доброго христианина», как он выразился, «за небольшие деньги и иные военные выгоды отнестись к его делу сочувственно, а к по-

мешку фон-Тронка, как к заклятому врагу всех христиан».

В следующем указе, появившемся вскоре после этого, он называл себя уже «независимым от государства и мира человеком, токмо единому богу подвластным»; вот это болезненное и ошибочное мечтательство за одно со звоном золота и надеждой на добычу, живо проникнув в крестьянский люд, оставшийся в то время без куска хлеба вследствие перемирия с поляками, дало порядочное подкрепление его отряду: и в самом деле он уже насчитывал тридцать с лишним человек, когда решил переправиться на правый берег Эльбы, чтобы обратить в прах и пепел город Виттенберг. Он расположился лагерем со своими лошадьми и людьми под крышей старого развалившегося кирпичного амбара, в глуши темного непроходимого леса, который в те времена тянулся до самого предместья. Не так уже скоро узнал он от Штернбальда, которого отправил переодетым с указом в город, что указ этот там давно уже известен; тогда, это было в святой вечер, он ворвался со своим отрядом в город, как раз накануне Троицына дня, когда горожане спали уже глубоким сном, и велел поджечь его одновременно с нескольких концов. В то время как люди его грабили предместья, он прибил к церковным воротам листок следующего содержания:

«Это я, Кольгаас, поджег город, и ежели мне не выдадут помещика, я обращу его в пепел, и не уцелеет ни единой стены, за которой пришлось бы мне его отыскивать».

Трудно описать весь ужас жителей по поводу столь неслыханной дерзости; и когда пламя, благодаря безветрию летней ночи, уничтожив лишь девятнадцать строений, в том числе одну церковь, стало к утру понемногу стихать, ландфогт, старый Отто фон-Горгас выслал эскадрон в пятьдесят человек, чтобы захватить этого бешеного человека. Но войсковой старшина, по имени Герстенберг, распорядился столь неумело, что вся экспедиция вместо того, чтобы разбить на-голову Кольгааса, потерпела поражение, и это дало Кольгаасу возможность стяжать себе еще бóльшую, весьма опасную военную славу; дело в том, что сей воевода, разбив свой эскадрон на несколько частей, имел в виду окружить Кольгааса с разных сторон; Кольгаас же, собрав весь свой отряд воедино, напал и разбил противника во всех пунктах, так что к вечеру следующего дня в поле не осталось ни единого человека из эскадрона, на который возлагалось столько надежд. Кольгаас, потеряв в этом сражении несколько человек, на утро следующего дня снова поджег город и его лютые замыслы опять ему удались; много домов и все амбары предместий были обращены

в пепел. Затем он снова расклеил вышеупомянутый указ на стенах ратуши, добавив к нему сводку о судьбе отряда, посланного против него ландфогтом, и разбитого им на голову заодно с казненным им воеводой Герстенбергом. Взбешенный такою жестокостью, ландфогт, став лично во главе конного отряда в сто пятьдесят человек, выступил против него. По письменной просьбе Венцеля фон-Тронка он дал ему стражу, для охраны его от народной мести, ибо население решительно требовало, чтобы он покинул город; затем, расположив дозоры по всем окрестным деревням и расставив посты вдоль городского кремля на случай неожиданного нападения, он выступил сам в день святого Гервасия¹ в бой против дракона, опустошителя страны. Кольгаас был достаточно хитер и всячески избегал открытой встречи с этим отрядом; ловко лавируя в своем отступлении, он завлек ландфогта на пять миль от города и, внушив ему заносчивое мнение, что он, будто испугавшись неравной силы, направляется в Бранденбургскую область, на третью ночь внезапно свернул назад к Виттенбергу и поджег его в третий раз. Херзе, пробравшись переодетым в город, привел в исполнение этот ужасный замысел. Пламя пожара, благодаря сильному

¹ 19 июня.

северному ветру, приняло такие размеры, что менее чем в три часа сгорело сорок два дома, две церкви, несколько монастырей и школ и даже здание курфюрстовского областного управления было превращено в груды развалин и пепла. Ландфогт полагал, что его противник чуть свет-заря будет уже в Бранденбургской области, но узнав о случившемся, и потеряв присутствие духа, повернул поспешно назад, и застал весь город в полном смятении; стояли тысячные толпы народа перед помещичьим домом, обнесенным прочным тыном, и, неистово крича, требовали, чтобы господина Венцеля фон-Тронка выдворили во что бы то ни стало из города. Два бургомистра, один по имени Иенкенс, другой Отто, облачившись в парадную форму во главе целого магистрата, напрасно старались убедить народ, что необходимо во всяком случае дожидаться возвращения гонца с ответом от президента Государственной канцелярии, можно ли выслать помещика в Дрезден, куда он и сам по многим причинам желал бы отбыть. Но своевольная толпа, вооруженная пиками и копьями, не внимая никаким увещаньям, обсуждала и изобретала способы, подстрекаемая разными людьми, как бы взять приступом и сравнять с землей дом, в котором засел помещик,—как вдруг в город прибыл в это время с отрядом своих всадников сам ландфогт Отто фон-Гор-

гас. Этому почтенному лицу, привыкшему одним уже своим видом внушать народу повиновение и страх, удалось как бы в награду за свой неудачный поход захватить у городских ворот троих беглецов из шайки поджигателя; они были на глазах у всего народа закованы в цепи; после того он обратился к магистрату с хитрой речью, высказав надежду привести скоро в оковах и самого Кольгааса, на след которого он будто бы уже напал. Таким образом ему удалось обезоружить опасения собравшейся толпы и уговорить ее до возвращения гонца из Дрездена не волноваться по поводу пребывания в городе помещика. Окруженный рыцарями, он сошел с коня и, когда были разобраны столбы и колья палисада, он пробрался в дом, и застал помещика на попечении двух врачей, старавшихся разными настойками и спиртами привести его в чувство из обморока, в который он то и дело впадал; господин Отто фон-Горгас, прекрасно понимая, что теперь не время вступать с ним в разговоры по поводу того, что он тут натворил, посмотрев на него с презрением, велел ему одеться и следовать за ним ради его же собственной безопасности в помещение рыцарской тюрьмы. Когда на Венделя надели шлем и латы, и с полураскрытой грудью,— он все еще задыхался,—вывели под руки,

с одной стороны—ландфогт, с другой—его зять, граф Гершау—на улицу, со всех сторон посыпались на него проклятия и отборнейшая ругань: народ, с трудом сдерживаемый ландскнехтами, кричал ему: «пьявка! жалкий мародёр! истязатель! проклятье города Виттенберга! напасть Саксонии..!»—Наконец, после плачевного шествия по развалинам города,—по пути он несколько раз терял шлем, который рыцари снова насовывали ему на затылок,—добрались они кое как до тюрьмы, где он и укрылся в одной из башен под охраной усиленной стражи. Меж тем ответ курфюрста, привезенный гонцом, поверг город в новое отчаянье. Правительство, к которому с настойчивой просьбой обращался дрезденский магистрат, ответило, что оно и слышать не хочет о приезде господина Венделя фон-Тронка в столицу, прежде чем не будет разбит поджигатель; больше того,—ландфогту вменялось в обязанность использовать данную ему власть на защиту помещика там, где он ныне находится, ибо ему надо же где нибудь да находиться; засим славный город Виттенберг успокоения ради оповещался, что на подмогу уже выступил отряд в пятьсот человек под предводительством принца Фридриха Мейссенского. Ландфогт, прекрасно понимая, что подобная резолюция не может успокоить народ—поразмыслив, решил не

оглашать ее, так как не говоря уже о весьма неприятных слухах, какие распространялись среди деревенского люда о силах Кольгааса, стяжавшего себе благодаря мелким победам в разных частях городских предместий военную славу: да сама война, ведомая им под прикрытием ночи с помощью переодетых крестьян, посредством смолы, соломы и серы, была столь неслыханной и беспримерной, что даже бóльшая сила, чем та, с какою должен был прибыть на выручку принц Мейссенский, показалась бы и вовсе беспомощной:—итак, обсудив все это, ландфогт решил положить эту резолюцию под сукно. Он расклеил в разных частях города лишь послание принца Мейссенского, в коем последний оповещал о своем прибытии; с наступлением рассвета из тюремного двора выехал крытый фургон под конвоем четырех тяжело вооруженных всадников, и направился по дороге на Лейпциг; при этом всадники, как бы невзначай обмолвились, будто едут в Плейссенбург; а так как пребывание в городе бесстыдного помещика Венцеля было соединено для населения с огнем и мечом, то отъезд его явился своего рода успокоеньем; тем временем сам ландфогт с отрядом в триста человек выступил на соединение с принцем Мейссенским.

На ту пору Кольгаас, благодаря своему особому положению и явному расположению к нему крестьян, увеличил свои силы до ста девяти человек; к тому же и в Иессене у него был заготовлен запас оружия, вследствие чего он мог достаточно хорошо вооружить им своих людей; итак, только узнав, что за двойная гроза надвигается на него, он решил мчаться навстречу врагам с быстротою вихря, пока что противник сам не напал на него. На второй день он обрушился уже на принца Мейссенского, ночью, у города Мюльберга; в этой схватке к великому своему горю он потерял Херзе, который пал под первыми же выстрелами, сражаясь рядом с ним; ожесточенный этой потерей, он в продолжении трех дней держал бой с принцем, и разбив его наголову, лишил возможности собрать остаток своего войска у пригорода; к утру принц, тяжело раненый, с частью отряда, приведенного в полнейший беспорядок, отступил по дороге на Дрезден. Опьяненный таким успехом, Кольгаас двинулся против отряда ландфогта, прежде чем тот успел узнать о поражении принца, и напав на него у деревни Дамеров среди бела дня, в открытом поле, сражаясь с ним при больших потерях, однако с успехом, до самой поздней ночи. Наверно он бы разбил окончательно ландфогта, бежавшего, с остатком своих людей на кладбище

под Дамеров, если бы тот во время не узнал о поражении принца под Мюльбергом и не счел более благоразумным вернуться до поры до времени в Виттенберг. Через пять дней после уничтожения обоих отрядов, Кольгаас стоял уже у стен Лейпцига, и поджег его с трех сторон.

В указе, выпущенном им по этому случаю, он величает себя «Наместником Михаила Архангела, пришедшим мечом и огнем покарать всех сторонников помещика в сей тяжбе, а вместе с ними—коварство и подлость сильных мира сего». Затем из Люценского замка, на который он напал врасплох и где прочно засел, обращается к народу с воззванием, в котором призывает всех желающих создания лучшего строя примкнуть к нему. Под указом стояла дикая подпись:

«Дано сие в резиденции нашего временного мирового правительства, в великом замке Люценском».

К счастью жителей города Лейпцига, огонь, благодаря обложному дождю и спешным противопожарным мерам, распространился не так уж быстро,—сгорело всего лишь несколько мелких лавок в районе Плейссенбурга. Но весь город, однако, был в несказанном смятении, зная, что неистовый поджигатель находится ныне у стен Лейпцига, в надежде,

что Вендель скрывается в городе; был выслан навстречу конный отряд в сто восемьдесят сабель, но он возвратился назад, потерпев поражение: тогда магистрату, не желавшему рисковать городскими богатствами, не оставалось ничего более, как занереть вовсе городские ворота, и днем и ночью выставить дозоры вдоль укрепленных стен. Тщетно вывешивались магистратом по окрестным деревням объявления о том, что помещика нет в Плейссенбурге: Кольгаас в такого же рода декларациях утверждал, что он именно в Плейссенбурге, и даже, если бы его там и не было, то он будет действовать все равно так же, как если бы он там находился, пока ему точно не укажут, где он сейчас скрывается. Курфюрст, осведомленный через гонда, в каком затруднительном положении Лейпциг, заявил, что им уже собрано двухтысячное войско и что он вскоре выступит сам, с тем, чтобы захватить Кольгааса. Воевода Отто фон-Горгас получил от него строжайший выговор за свою двусмысленную и необдуманную хитрость, с какою он выпроводил поджигателя из района Виттенберга; трудно описать ту смуту, которая охватила всю Саксонию, в особенности же столицу, когда стало известно, что в деревнях под Лейпцигом неведомо кем вывешено обращение к Кольгаасу, следующего содержания:

«Помещик Венцель находится у своих двоюродных братьев Гинца и Кунца, в городе Дрездене».

Видя, такое положение дел, доктор Мартин Лютер, опираясь на уважение, какое он имел в стране, взялся силой успокоительных слов образумить Кольгааса и вернуть его назад в русло установленного порядка; рассчитывая на честность в душе разбойника и поджигателя, он выпустил к нему воззвание, которое было развешено по всем городам и селениям курфюршества. Оно гласило:

«Кольгаас,

Ты, который выдаешь себя за посланного творить мечом суд и расправу, за что берешься ты, человек ослепленный страстями, ты, олицетворенная с ног до головы несправедливость? Оттого только, что владетельный курфюрст, которому ты подчинен, отказал тебе в праве твоем на тяжбу по поводу столь ничтожного имущества, восстаешь ты, безбожник, и точно волк пустыни, с мечом и огнем нападаешь на мирную общину, которую он охраняет.

Ты, который в своих обещаниях соблазнил и ввел во искушение людей: неужто ты, грешник, думаешь уйти от бога в тот день, который осветит все помыслы людских сердец? Как смеешь ты говорить, что тебе от-

казано было в твоих правах, когда сердце твое, исполненное чувства мести, после пер-
вых же неудачных попыток отвернулось от
желанья отстоять их? Разве слухи правосудия
и полицейские, утаившие полученное письмо
или задержавшие какой нибудь приговор, вме-
сто того, чтобы его объявить,—твое началь-
ство? И неужто я должен говорить тебе,
человеку забытому богом, что начальство
твое даже не ведаёт о делах твоих,—скажу
больше того: владельческому курфюрсту, про-
тив коею ты восстаешь, неизвестно даже
имя твое, и когда ты некогда предстанешь
перед престолом божьим, с намерением осу-
дить курфюрста, он с ясным лицом ска-
жет:—«Господи, я не сделал человеку этому
зла, существованье его неведомо душе моей»?

Знай, меч твой—меч грабежа и разбоя,
ты—бунтовщик, а не воин божий, и пред-
стоят тебе на земле колесо и виселица, а
на том свете проклятье за безбожье твое
и злые дела.

Виттенберг, такого то числа

Мартин Лютер».

Как раз в это время Кольгаас с тревогою
обдумывал в замке Люценском свой новый
план о сожжении Лейпцига — объявлению,
развешенному в деревнях, что помещик Вен-

цель в Дрездене, он не поверил, к тому же оно было подписано неведомо кем, а не от имени магистрата, как он того требовал:—как вдруг Штернбальд и Вальдманн к великому своему смущению прочли Лютеровское обращение, прибитое этой ночью к воротам замка. Напрасно в продолжение нескольких дней надеялись они, что Кольгаас, которому они не хотели рассказывать о том, сам его заметит; угрюмый и сосредоточенный появлялся он по вечерам, лишь для того, чтобы отдать свои краткие распоряжения, и, казалось, он ничего не замечал; наконец, однажды утром,—в тот день он собирался приказать повесить двух человек из своего отряда, грабивших в окрестных деревнях вопреки его воле,—решили они обратить его внимание на Лютеровский плакат. Он возвращался с места казни в сопровождении свиты,—со времени последнего своего указа он иначе не появлялся,—народ боязливо расступился перед ним, впереди, несли на красной кожаной подушке, украшенной золотыми кистями, его большой херувимский меч, двенадцать слуг с зажженными факелами следовали за ним: и вот Штернбальд и Вальдманн, держа почтительно мечи под мышкой, вдруг показали у столба, где был прибит плакат,—их неожиданное появление должно было его удивить, он не мог их не заметить.

Кольгаас вошел в портал, с заложёнными за спину руками, углубленный в свои мысли. Вдруг он поднял глаза и застыл от изумления; слуги, его окружавшие, приняв на себя вид подобострастия, исчезли; он рассеянно взглянул на них и быстрыми шагами подошел к столбу. Кто сумеет описать, что произошло в душе его, когда он прочитал листок, в котором его упрекали в несправедливости, подписанный к тому же самым для него дорогим и уважаемым именем, какое он только знал, именем Мартина Лютера!

Темный румянец вспыхнул на лице его; он дважды перечел листок, сняв шлем,—дважды, от слова до слова; обернулся, и неуверенным взглядом посмотрел на своих людей, точно собираясь что то сказать, но не сказал ни слова, снял со стены листок, снова прочитал его и крикнув:— «Вальдманн, вели седлать моего коня!», затем:—«Штернбальд! В замок, за мной!»—исчез.

Лютеровского слова было достаточно, чтобы вдруг обезоружить его при всей его теперешней испорченности. Он переоделся в платье тюрингенского фермера; сказал Штернбальду, что по весьма важному делу отправляется в Виттенберг; передал ему, в присутствии лучших своих воинов, предводительство остающегося в Люцене отряда и, пообещав вернуться дня через три, в течение этого вре-

мени нечего было опасаться нападения, направился в Виттенберг.

Он остановился в гостинице под вымышленным именем. Когда настала ночь, закутавшись в плащ, с парой пистолетов из числа тронкенбургской добычи, явился он в комнату Лютера. Лютер сидел в это время у стола, погруженный в свои рукописи и фолианты; заметив, что к нему вошел какой то незнакомый, странного вида человек, который войдя запер за собой дверь на задвижку, он спросил его, кто он такой и что ему угодно? Незнакомец, державший почтительно шляпу в руках, опасаясь, назвавшись, внушить страх, не сразу ответил, что он—Михаэль Кольгаас, конноторговец. Услыхав это имя, Лютер закричал: «исчезни отсюда!»—встав из за стола, и бросившись к звонку, добавил:

— Дыханье твое—чума, и близость твоя—гибель!

Кольгаас, не двинувшись с места, вынул пистолет:

— Достопочтенный доктор, если вы только притронетесь к звонку — вот этот пистолет обратит меня в бездыханный труп у ваших ног! Сядьте и выслушайте меня; среди ангелов, которым вы слагаете псалмы, вы не в большей безопасности, чем находясь со мной.

Лютер, опустившись в кресло, спросил:

— Чего же ты хочешь?

— Хочу, чтобы вы изменили ваше мнение обо мне, что я человек несправедливый! В вашем обращении вы говорите, будто начальство не знает о моем деле: ну, что же, в таком случае дайте мне охранную грамоту, я отправлюсь в Дрезден, и сам обо всем ему расскажу.

— Безбожник! Чудовище!—воскликнул Лютер, смущенный, и в то же время успокоенный его словами:—кто дал тебе право нападать на помещика фон-Тронка, основываясь на самочинном приговоре, и не найдя его в замке, огнем и мечом всполошить всю обшину, оберегавшую его?

Кольгаас возразил:

— Высокочитимый доктор,—вы правы—никто! Известие, полученное мной из Дрездена, ввело меня в заблужденье! Война, которую я веду с обществом, была бы с моей стороны злодеянием, если бы я, как вы то утверждаете, не был им отвергнут!

— Отвергнут?—глянувши на него, воскликнул Лютер:—как могла притти тебе в голову такая безумная мысль? Кто мог изгнать тебя из государства, в котором ты живешь? Назови мне хотя бы один случай со времени его существования, когда кто-либо был исключен из него?

— Отвергнутым обществом я называю того,—сжимая от волнения руки, продолжал Кольгаас,—кому отказано в законной защите!

Я в ней нуждаюсь, чтобы иметь право на мирный свой труд; да, во имя этого ищу я поддержки у общества, а тот, кто отказывает мне в этом, гонит меня в дикие леса, тот дает мне, согласитесь сами, в руки палицу для самозащиты.

— Кто же это тебе отказал в покровительстве закона? — воскликнул Лютер. — Разве не писал я тебе, что жалоба твоя, с которою ты обратился к правителю страны, ему неизвестна? Если чиновники за спиной у него похищают дела и тайком насмеваются над священным именем его, кто, кроме бога, может призвать его к ответу за такой выбор чиновников, и разве ты, богоотступник, уполномочен казнить его за то?

— Хорошо, — ответил Кольгаас, — ежели правитель страны не отталкивает меня, я вернусь в общество, которым он управляет. Дайте мне, повторяю, охранную грамоту для поездки в Дрезден: я распушу тогда свой отряд, который оставил в Люденском замке, и снова подам в трибунал жалобу, в которой мне было уже однажды отказано.

Лютер с недовольным лицом разбросал рукописи, лежавшие у него на столе, и замолчал. Его злило то упрямство, с которым этот страннный человек вел себя по отношению к государству, и, обдумывая приговор, посланный им из Кольгаасенбрюка помещику,

спросил его, что же намерен он требовать от дрезденского трибунала?

Кольгаас отвечал:

— Чтобы помещик был наказан согласно закону; чтобы лошади были приведены в прежнее состояние; чтобы убытки, какие потерпел я и убитый под Мюльбергом работник Херзе, были возмещены нам.

— Возмещены убытки?—крикнул Лютер.
— Ты собрал тысячи у евреев и христиан под векселя и залогом для осуществления твоей дикой мести! Может быть, поставить и их в счет тоже?

— Боже сохрани! — ответил Кольгаас.— За двор, дом и хозяйство, которое у меня было, я не требую уплаты, так же как и за погребение моей жены! Старуха—мать Херзе подсчитывает расходы по лечению и убытки, которые потерпел ее сын в Тронкенбурге; мои же убытки из за непродажи вороных пусть определит какое нибудь сведущее лицо по назначению правительства.

Лютер, взглядываясь в него, сказал:

— Неистовый, непонятный, чудовищный человек! Если ты мечом и огнем жестоко отомстил помещику, к чему тебе искать решения суда, которое сравнительно с этим будет ничтожно?

На глазах Кольгааса навернулись слезы. Он отвечал:

— Высокочитимый доктор! Это стоило мне смерти жены; Кольгаас хочет доказать миру, что она погибла не из за неправого дела. Вы подчинитесь в этом моей воле, пусть суд скажет свое слово; во всем остальном, что будет спорного, я подчиняюсь вам.

Лютер сказал:

— Смотри, то, что требуешь ты, было бы справедливо, если бы, прежде, чем мстить за все это самовластно, ты бы представил дело на решение курфюрста, и я не сомневаюсь, тебя удовлетворили бы по всем пунктам твоих требований. Ну, не лучше ли было бы, если бы ты, взвесив все это, во имя твоего искупителя, попросил помещика вернуть лошадей, взял бы назад своих заморенных вороных и привел бы откармливать их на конюшнях в своем Кольгаасенбрюке?

— Может быть!—подойдя к окну, заметил он;—а быть может и нет! Если бы я знал, что мне придется откармливать их кровью сердца моей любимой жены, я, может быть, и поступил бы так, как вы говорите, высокочитимый доктор, не пожалел бы какогонибудь четверика овса! Но если уж мне они обошлись так дорого, пусть, решил я, все идет своим чередом! Пускай решает дело суд и приговорит помещика откормить мне вороных.

Лютер, погрузившись в мысли, принялся снова за рукописи: он пообещал переговорить

с курфюрстом, однако, с уговором, чтобы до тех пор Кольгаас не выступал из Люденкого замка; если же курфюрст согласится дать ему охранную грамоту, он узнает о том из расклеенных по дорогам объявлений.

— Но не знаю,—продолжал он, в то время, как Кольгаас нагнулся, чтобы поцеловать ему руку,—пожелает ли курфюрст сложить гнев на милость; ибо, насколько мне известно, он стоит во главе целого войска, чтобы захватить тебя в Людене; во всяком случае обещаю тебе употребить все мое старание.

Затем он встал, считая беседу законченной. Кольгаас сказал, что его заступничество в этом деле вполне его успокаивает; в ответ на это Лютер простился с ним движением руки, но тот, опустившись вдруг перед ним на колени, сказал, что у него на сердце есть еще одна просьба:

— В день Троицы я всегда причащаюсь, а в этом году по случаю военных дел лишен был возможности быть в церкви; не сообразоволи ли исповедывать меня и допустить к принятию св. таинств?

Лютер, после минутного размышления, пристально посмотрел на него:

— Хорошо, Кольгаас, я согласен! Но господь, тела которого ты просишь, ведь прощал врагам своим. — Согласен ли ты, — продолжал он, заметив, что тот смотрит на него

смущенно, — также простить помещика Венделя, оскорбившего тебя, и отправиться в Тронкенбург, взять своих вороных, вернуться с ними в Кольгаасенбрюк и откармливать их там?

— Высокочтимый доктор, — проговорил Кольгаас, весь побледнев и схватив его руку. — Что ж?—Господь ведь тоже прощал не всем своим врагам. Я готов простить курфюрсту, обоим господам фогту и кастеляну, господам Гинцу и Кунцу и всем прочим, кто обидел меня в этом деле, а помещика я все таки желал бы заставить откормить моих вороных.

Услышав такие слова, Лютер с недовольным видом повернулся к нему спиной и дернул звонок. В сенях появился начётчик со свечью в руках. Кольгаас, смущенный, поднялся и вытер слезы; так как начётчик напрасно старался открыть дверь, запертую на задвижку, — в это время Лютер снова занялся своими рукописями, — то Кольгаас сам отпер ему дверь. Лютер, указав взглядом на гостя, сказал вошедшему: — «Посвети!» — после чего тот, не без удивленья оглядев незнакомца, снял со стены ключи и вернулся в прихожую, ожидая его ухода. Кольгаас, теребя в волнении шляпу, спросил:

— Итак, высокочтимый доктор, могу ли я рассчитывать на то благодетельное примирение, о котором я вас просил?

Лютер коротко ответил:

— С господом богом — нет, с курфюрстом, как я уже сказал тебе — попытаюсь!

Затем он сделал знак начётчику, чтобы тот немедленно проводил гостя. Кольгаас, с грустью скрестивши руки на груди, последовал за человеком, освещавшим лестницу, и исчез в темноте.

На следующее утро Лютер отправил курфюрсту Саксонскому послание, в котором с горечью рассказал ему об окружавших его господах Гинде и Кунце фон-Тронка и о прискорбном факте утайке ими, его приближенными, камерером и кравчим, Кольгаасовской жалобы; со свойственным ему прямотою он писал курфюрсту, что в настоящее время при столь досадных обстоятельствах не остается ничего более, как согласиться на предложение конноторговца и, принимая во внимание все происшедшее, даровать ему амнистию для возобновления процесса. Общественное мнение, подчеркивал он, весьма опасным образом на стороне этого человека; даже в тоекратно подоженном им Виттенберге и то раздаются голоса, оправдывающие его, и, ежели ему будет отказано в его прошении, он несомненно станет распространять в народе по этому поводу самые злостные слухи и может настолько повлиять на него, что все правительственные меры окажутся тогда бессильны. В заключение он указывал на то, что в этом, совер-

шенно исключительном случае не следует останавливаться перед тем, чтобы вступить в переговоры с человеком, поднявшим оружие; что в виду несправедливого с ним обращения, он на самом деле как бы отвергнут государством, и, в сущности, к нему надо отнестись скорее, как к иноземной, вторгшейся в страну военной силе, за которую, он к стати сказать, как бранденбуржец, сам себя и считает, а не просто, как к мятежнику, восставшему против трона.

Курфюрст получил это послание в присутствии находившихся в это время в замке: принца и генералиссмуса Кристиерна Мейсенского, дяди принца Фридриха Мейсенского, потерпевшего поражение под Мюльбергом и до сих пор после полученных им ран находившегося в постели; гротсканцлера трибунала графа Вреде, президента государственной канцелярии графа Кальхейма и обоих фон-Тронка, камерера Кунца и кравчего Гинца, друзей детства и наперсников курфюрста. Камерер Кунц, состоял тайным советником, вел секретную переписку с полномочием пользоваться его именем и печатью, и потому первый взял слово; объяснив весьма подробно, что он никогда не решился бы самовольно прекратить дело Кольгааса, переданное в трибунал, если бы не был введен в заблуждение ложными показаниями; он до-

бавил, что, по его мнению,—все это ничтожная, ни на чем необоснованная кляуза, а затем перешел к положению дела в настоящее время. Он указал на то, что конноторговец, проявив из за какого то недоразумения столь ужасную месть, не может быть оправдан ни по божескому, ни по человеческому законам; он старался представить, каким ореолом была бы окружена личность Кольгааса, если отнестись к нему, как к открытой военной силе; что весь позор, который пал бы при этом на священную особу курфюрста, был бы для него настолько невыносим, что в пылу своего красноречия он готов был скорее согласиться на самое ужасное, а именно, на требованье безумного бунтовщика отправить дворянина фон-Тронка в Кольгаасенбрюк ухаживать за воронами, нежели услышать, что предложение доктора Лютера будет принято.

Гроссканцлер трибунала граф Вреде, повернувшись в сторону Кунца, выразил сожаление, что тот, проявлявший столь нежную заботливость в разъяснении этого во всех смыслах, можно сказать, неблагоприятного для славы его повелителя дела, не проявил, однако, такого же внимания в самом начале. Он представил курфюрсту свои опасения в том, что в случае применения явно несправедливой меры могут обвинить в этом государственную власть; между прочим, он указал

на то сочувствие, какое встречает повсюду Кольгаас столь продолжительное время, и что тем самым нить его злодеяний грозит протянуться до бесконечности; и только поступивши с ним по справедливости, то-есть исправив допущенную по отношению к нему ошибку, правительство сможет избавиться от нынешних смут. На вопрос курфюрста, обращенный к принцу Мейссенскому, что он имеет сказать по сему поводу, тот, почтительно обращаясь в сторону гроссканцлера, ответил, что относится с величайшим респектом к высказанному им мнению; но, отстаивая права Кольгааса, они забывают, однако, о том, что наносят тем самым ущерб Лейпцигу и Виттенбергу, равно как и округам, потерпевшим от него и имеющим полное право на возмещение понесенных ими убытков, за кои он должен понести, по меньшей мере, суровое наказание; что мерами закона не водворить в стране порядка, столь нарушенного. И потому он присоединяется к мнению камерера использовать те средства, какие обычно применяются в подобных случаях: а именно, в срочном порядке собрать достаточно сильное войско и, окружив Кольгааса, засевшего в Людене, взять его там измором. Камерер, придвигая самым любезным образом кресла для него и курфюрста, почтительнейше молвил, что он счастлив, что такой справедли-

вейший и предусмотрительнейший человек, как принц, согласен с ним в средствах разрешения столь двусмысленного и сложного дела. Принц, облокотясь рукой на спинку кресла, но не воспользовавшись любезностью камерера, посмотревши на него в упор, заметил, что ему то как будто нечего особенно радоваться; ведь в таком случае в первую очередь пришлось бы арестовать его самого и начать процесс по поводу злоупотребления именем курфюрста. Ибо, если уж необходимость требует того, чтобы опустить завесу перед тронем справедливости, то дело, подобное этому, из бесконечного ряда злодеяний, которые независимо от того, как они произошли, не могли бы теперь уже обсуждаться перед судом,—оказалось бы далеко не самым блестящим; что же касается требованья истребить Кольгааса, это могло бы привести к уничтожению единства самого государства, так как дело то Кольгааса—дело, в сущности говоря, совершенно правое, и это означало бы тем самым дать ему в руки меч. Смущенный такими словами, камерер посмотрел на курфюрста, который, густо покраснев, отошел к окну. Граф Кальхейм, как бы желая сгладить неловкое молчанье, заметил, что так ведь не выйти никогда из этого заколдованного круга. Рассуждая таким образом, можно привлечь в одинаковой мере и его племянника

принца Фридриха, ибо и он ведь тоже в этом своеобразном походе против Кольгааса нарушил данные ему инструкции: и если б пришлось перебирать всех виновных в теперешней сумятице—следовало бы включить в их число и его самого, как лицо, ответственное перед курфюрстом за неудачи под Мюльбергом. Кравчий, господин Гинц фон-Тронка, видя, что курфюрст, немало озадаченный всем этим, подошел к его столу, попросил слова.

— Мне решительно непонятно, что столь умудренные опытом люди, как собравшиеся здесь, не могут понять, каково должно быть в данном случае государственное решение. Конноторговец, насколько мне известно, обещает распустить свой отряд за одно лишь обещание пересмотра его дела и охранную грамоту для поездки в Дрезден. Но из этого, однако, не следует, чтобы за всю совершенную им бесстыдную месть надо было бы даровать ему амнистию:—это два различных понятия, видимо смешиваемых, как доктором Лютером, так и государственным советом.

— Ибо—продолжал он, с важностью приложив палец к носу,—если бы даже по поводу вороных в дрезденском трибунале и был вынесен обвинительный приговор, то это нисколько, однако, не мешает нам засадить Кольгааса за поджоги и грабежи; вот весьма разумный государственный компро-

мисс, который соединяет в себе мнения обоих государственных мужей, и заслуживает одобрения, как современников, так и потомков.

Принц, а равно и гротсканцлер ответили на речь кравчего безмолвным взглядом, и совещание на этом окончилось; курфюрст объявил, что все различные мнения, высказанные здесь сегодня, он лично обсудит к следующему заседанию государственного совета. Казалось, те предварительные меры, кои были предложены принцем, отбили охоту у курфюрста, столь склонного к старой дружбе, выступить походом против Кольгааса, к чему надо сказать все уже было готово. Поэтому он задержал у себя канцлера Вреде, предложение которого казалось ему наиболее целесообразным; и когда тот показал ему письма, из коих явствовало, что военная сила Кольгааса возросла в настоящее время до четырехсот человек, а при всеобщем недовольстве, царившем в стране по поводу несправедливостей, творимых камерером, можно предполагать, что силы его возрастут чего доброго вдвое, а то и втрое, поэтому курфюрст решил, не откладывая, принять совет доктора Лютера. Сообразно с этим, он передал ведение всего кольгаасовского дела графу Вреде; и вот через несколько дней появился указ, который мы приводим здесь в главной его части:

«Мы, милостью божией, курфюрст Саксонии и проч. и проч., сим объявляем, что, снисходя к полученному нами от доктора Мартина Лютера посланию, с ходатайством за Михаеля Кольгааса, коневода, родом из курфюршества Бранденбургского, настоящим даем ему охранную грамоту и право на возобновление его дела в Дрезденском Трибунале, при условии, ежели он в течение трех дней с сего числа сложит оружие; однако, ежели, паче чаяния в Дрезденском Трибунале будет ему отказано в иске по поводу его вороных, к нему будет применена вся строгость закона за его самовольный почин добиваться законных прав; а в противном случае даем ему и всей его шайке полное помилование и амнистию за все учиненные им в Саксонии насилия».

Только успел Кольгаас получить через доктора Лютера экземпляр этого указа, расклеенного повсеместно, он немедленно, несмотря на условность, выраженную в нем, распустил весь свой отряд, на прощанье щедро одарив его подарками, поблагодарив за службу и сделав должные наставления. Всю же военную добычу, состоящую из золота, оружия и разной утвари, вручил он судьям в Люцене, как собственность курфюрста; затем он отправил Вальдманна к старосте домой в Кольгаасенбрюк с письмом насчет выкупа своего

хутора, если тот, конечно, ничего не имеет против; Штернбальда же послал за детьми в Шверин, ему хотелось иметь их теперь при себе; затем, обратив остаток своего небольшого состояния в ценные бумаги, покинул он Люценский замок, и неузнанный никем, направился в Дрезден.

Еще только светало. Весь город спал, когда он постучался в дверь маленького домика на хуторе своем, в окрестностях Пирны, сохранившегося благодаря честности старосты; ему открыл дверь старик Томас, ведавший хуторским хозяйством, который, завидев на пороге Кольгааса, так и застыл от удивления. Конноторговец попросил его немедленно отправиться в город и сообщить принцу Мейсенскому о его прибытии. Принц Мейсенский, получив это известие, и решив, что целесообразней всего будет доподлинно самому выяснить взаимоотношения свои с этим человеком, выехал тотчас с целою свитой рыцарей и обозной прислуги, и застал всю улицу, ведущую к дому Кольгааса, уже запруженной толпами народа. Весть о том, что «Ангел смерти» в городе, он, который мечем и огнем казнит угнетателей народа,—всполошила весь Дрезден, и город и предместье поднялись на ноги; пришлось запереть ворота дома на засов, чтобы сдержать напор слишком любопытной толпы; мальчишки влезали на окна, чтоб

поглазеть на поджигателя, который в это время преспокойно сидел за завтраком. Принц с помощью стражи пробрался в дом; войдя в комнату к Кольгаасу, который в это время стоял у стола полураздетый, он спросил его, действительно ли он есть тот самый конноторговец Кольгаас?

В ответ на это, тот, вынув из за пояса бумажник с документами касательно его дела, почтительно подал их ему:

— Да,—сказал он, поясняя:—я распустил уже свой военный отряд и прибыл в Дрезден согласно разрешения курфюрста, чтоб подать в суд жалобу на помещика Венцеля фон-Тронка по поводу вороных.

Принц, торопливо оглядев его с ног до головы, прочел поданные ему в бумажнике документы; спросил, что это за свидетельство от Люценского суда о внесенном на хранение в пользу казны имуществе и, расспросив его еще кое о чем, о детях, об его хозяйстве, о планах его на будущее, и вполне убедившись в том, что он не внушает никаких опасений, возвратил ему документы, сказав при этом, что для возобновления его процесса препятствий не встречается, и что ему для этого следует обратиться лично к гроссканцлеру трибунала, графу Вреде. Затем подойдя к окошку и увидя собравшуюся перед домом толпу, он, помолчав немного, прибавил:

— На первое время придется приставить к тебе стражу, которая будет охранять тебя, как дома, так и на улице!—Кольгаас в изумлении потупил глаза и не сказал ни слова.

— Что делать!— отойдя от окна, заметил принц,—во всем случившемся вини самого себя,—с этими словами он направился к двери, собираясь уходить. Кольгаас, придя в себя, промолвил:

— Ваша милость! делайте, как хотите! Только дайте мне слово, если я пожелаю, то смогу снять стражу. Если это будет так—я не возражаю против этой меры.

Принц ответил, что это само собой разумеется, и обратившись к стоявшим здесь трем ландскнехтам, объяснил им, что человек, в доме которого они остаются, свободен и, что они приставлены к нему лишь для охраны, с тем, что когда он будет выходить в город, обязаны сопровождать его. Принц движением руки простился с конноторговцем и вышел.

Около полудня, Кольгаас в сопровождении своих трех ландскнехтов, окруженный неисчислимой толпою народа, ничем однако его не беспокоившей, направился к гроссканцлеру трибунала, графу Вреде. Тот принял его чрезвычайно обходительно, можно сказать любезно в своей прихожей; целых два часа он расспрашивал его о всех подробностях дела, начиная с самых первых дней и, выслушав

все это, направил его для составления жалобы к состоящему при суде известному городскому адвокату. Кольгаас, не теряя времени, немедленно направился к нему на дом; жалоба была составлена совершенно тождественно с прежней: в ней он просил наказать согласно закону помещика, привести лошадей в прежнее состояние и возместить убытки, как лично его, так и его работника Херзе, убитого под Мюльбергом, зачтя их в пользу оставшейся после его смерти старухи-матери; покончив с этим делом, окруженный все тою же любопытной толпой, вернулся он к себе домой, твердо решив не выходить более из дому, разве что только по особо важным делам.

Тем временем помещик был тоже освобожден из заточения своего в Виттенберге и, поправившись после опасного рожистого воспаления ноги, был вызван верховным судом с требованием безотлагательно явиться в Дрезден вследствие поданной на него Кольгаасом жалобы по поводу противозаконного захвата лошадей и приведения их в негодность. Братья камерер и кравчий фон-Тронка, двоюродные братья Венцеля, в доме которых он остановился, приняли его с явным недоброжелательством и презрением; они назвали его человеком потерянным и ничтожным, опозорившим всю их семью, при чем объявили ему, что теперь он несомненно проиграет процесс,

и предложили ему тотчас приняться на потеху всему свету за откармливание вороных. Услыша это, Венцель слабым, дрожащим голосом отвечивал, что он самый что ни на есть, несчастный человек на свете. Он клялся, что не имел ни малейшего представления о всей этой проклятой конноторговле, повергшей его в такую беду; что во всем том виноват фогт и кастелян, которые без его ведома пользовались лошадьми во время уборки хлеба, частью даже для своих личных нужд и непосильной работой загнали их в конец. Рассказывая об этом, он сел и стал просить не усугублять его страданий еще новыми оскорблениями и обидами. На следующий день господа Гинц и Кунц, владевшие поместьями в окрестностях сожженного Тронкенбурга, по просьбе Венцеля, их двоюродного брата,—другого ничего ведь не оставалось,—написали своему управляющему и арендатору, чтобы они сообщили, что случилось с злополучными вороными, пропавшими без вести после пожара. Но все, что удалось им узнать из ныне почти обезлюдившей пустынной округи, это, что один из конюхов, под угрозой поджигателя, спас их из горящего сарая, в котором они стояли, и на вопрос, обращенный к разъяренному Кольгаасу, куда их девать, вместо ответа получил доброго пинка. Старуха ж, горбунья, домоправительница Венцеля, бежав-

шая в Мейссен, на письменный запрос своего хозяина заверила, что конюх на утро после той страшной ночи направился с лошадьми к бранденбургской границе; несмотря на все расспросы, так толком и не удалось ничего узнать,—очевидно, сведения эти были ошибочны; у помещика не было ни одного конюха, который бы жил в Бранденбургском курфюршестве или где либо в той стороне. Люди из Дрездена, что спустя несколько дней после тронкенбургского пожара побывали в Вильсдруффе, рассказывали, что действительно видели в указанное время конюха, прибывшего туда с двумя лошадьми, которых он вел в поводу; но так как лошади были до того заморены, что не могли итти дальше, они были оставлены им в коровнике у одного пастуха, взявшегося привести их в должный вид. По некоторым приметам это, вероятно, и были те самые вороны, которых повсюду искали; но оказалось, что пастух из Вильсдруффа, как уверяли некоторые очевидцы, перепродал их неизвестно кому. По другим слухам выходило, что вороны давно уже отдали богу душу, и что кости их зарыты где то на свалке под Вильсдруффом.

Легко догадаться, что господам Гинцу и Кунцу подобный оборот дела пришелся весьма на руку, ибо тем самым они избавлялись от траты на корм в своих конюшнях,—

ведь им бы пришлось волей неволей предоставить свои за отсутствием собственных у их двоюродного брата Венцеля; они, конечно, всячески старались, чтобы слух этот какнибудь да подтвердился. Тогда Венцель фон-Тронка отправил судьям в Вильсдруфф от своего имени, как помещика, наследника ленного поместья и судьи, письмо, где описав подробно вороных, которые были будто оставлены ему в виде залога и пали в силу несчастного случая, покорнейше просил разыскать их и предложить их нынешнему владельцу, кто бы он ни был, доставить их за хорошее вознаграждение на конюшни господина камерера Кунца в Дрезден.

И вот, спустя несколько дней, действительно объявился какой то человек, которому они были проданы пастухом из Вильсдруффа и который привел их исхудалых, еле живых, привязанных к задку телеги, на городской рынок; но к несчастью Венцеля, а еще более честного Кольгааса, оказалось, что это был живоде́р из Дёббельна. Как только до господина Венцеля и его двоюродного брата камерера дошли слухи, что в город прибыл человек с двумя лошадьми вороной масти, спасенными при пожаре Тронкенбурга, они второпях отправились в сопровождении нескольких конюхов на замковую площадь, где тот остановился, с тем, чтобы забрать их у него, если они действи-

тельно окажутся кольгаасовскими лошадьми, и, уплатив за прокорм, отправить их домой. Но каково было смущение рыцарей, когда они увидели, что толпа, привлеченная любопытным зрелищем, все растет и растет, и окружает со всех сторон двуколку, к которой были привязаны лошади; слышно было, как перекликались со всех сторон в толпе насмешливые голоса:

— Вот они, те самые лошади, из за которых всполошилась вся страна! Они уже попались живодёру!—Венцель, подойдя к двуколке, и осмотрев лошадей, которые, казалось, вот-вот околеют, заметил смущенно, что это не те вороны, что отобрал он у Кольгааса. Но Кунц, бросив на него такой свирепый взгляд, что будь тот хоть из самого железа, то и то от подобного взгляда мог бы сгореть от стыда,—подошел к живодёру и, откинув мантию и выставляя на показ свои ордена и судейскую цепь, спросил, не те ли это вороны, что принадлежали помещику Венделю фон-Тронкаи, взятые пастухом из Вильсдруффа, разыскиваемые теперь по приказу судьи? Живодёр, держа в руках ведёрко, собирался поить свою дородную, сытую кобылу, стоявшую в упряжи!—«Вороны?»—спросил он ставя ведёрко наземь и поглаживая кобылу, которую начал было разнуздывать;—«этих вороных мне продал свинопас из Гайнихена; не знаю

откуда он их взял, от пастуха ли в Вильсдруффе, аль от кого другого». — «Мне», — продолжал он снова подняв ведёрко и уперев его между дышлом и коленом, — «мне велено судебным приставом из Вильсдруффа привести их в Дрезден в дом какого то фон-Тронка; а помещика того, куда направили меня, звать Кунцем». — С этими словами он выплеснул из ведра воду, не допитую кобылой. Камерер, окруженный насмешливыми взглядами собравшейся толпы, и видя, что ничем не заставить парня, занятого так сосредоточенно своим делом, даже взглянуть на себя, объявил ему, что он и есть камерер Кунц фон-Тронка, а лошади, которых велено сюда доставить, принадлежат должно быть помещику Венцелю, его двоюродному брату; что во время пожара они были выведены конюхом, затем попали к пастуху в Вильсдруфф, а первоначально принадлежали коневоду Кольгаасу. Он спросил парня, который, повернувшись к повозке и раскарячив ноги, подтягивал тем временем штаны, — не те ли это вороны, которых забрал свинопас из Гайнихена от пастуха в Вильсдруффе или от кого другого, купившего их в свою очередь у него? Живоёр, подойдя к повозке и укладывая ведро, преспокойно отвечал, что ему велено представить вороных в Дрезден вот этим самым фон-Тронкам и получить с них деньги. А что там было раньше,

он ничего, мол, не знает: принадлежали ли они до свинопаса из Гайнихена Петру, али Павлу, али пастуху из Вильсдруффа, ему главное лишь бы они не были краденые—а до остального нет никакого дела. С этими словами, он преспокойно, заложив кнут за широкую спину, направился через площадь в трактир позавтракать, ибо с дороги порядком проголодался. Камерер не мог решительно ничего придумать, как быть ему с лошадьми, проданными живодёру в Деббельне гайнихенским свинопасом; а вдруг это не те, на которых сам чорт исколесил всю Саксонию?—и он потребовал, чтобы Венцель чтонибудь да сказал; у того губы побледнели и задрожали; он отвечал, что благоразумней уж, пожалуй, купить этих вороных, независимо от того принадлежат ли они Кольгаасу или нет. Тогда камерер, не зная, что и придумать, проклиная отца и мать, народивших его на свет, запахнувшись в мантию, выбрался вон из толпы. Он окликнул барона фон-Венк, своего знакомого, проезжавшего верхом по улице, и решил остаться на площади, наперекор насмехавшейся над ним толпе, ожидавшей только его ухода, чтобы разглотиться во всю; он попросил барона заехать по пути к канцлеру графу Вреде, с тем, чтобы тот прислал Кольгааса взглянуть на вороных. Конноторговец находился в это время у канцлера, будучи

вызван туда судебным приставом для дачи более точных показаний касательно Люценского дела; когда барон вошел в комнату, видно было, что канцлер не очень то доволен его приходом; Кольгаас, которого барон никогда не видел в лицо, стоял поодаль, держа в руках бумаги; барон объяснил, в каком затруднительном положении находятся господа фон-Тронка вследствие недостаточно точного заявления Вильсдруффских судей, ибо в город только что прибыл живодёр из Дёббелна с лошадьми, настолько замореными, что помещик Венцель никак не решается признать их за лошадей Кольгааса, и, прежде чем принять их от живодёра и отправить на поправку в рыцарские конюшни, было бы необходимо, чтобы Кольгаас лично осмотрел их и тем самым положил бы конец сомнениям.

— Итак, будьте добры,—заклучил он:— прикажите страже препроводить конноторговца из квартиры его на рынок, где стоят лошади.

Гроссканцлер, сняв с носа очки, заявил, что господин камерер ошибается вдвойне: во первых, полагая, что для выяснения дела достаточно, чтобы Кольгаас осмотрел лошадей, во вторых, воображая, что он, канцлер, уполномочен отправлять Кольгааса под стражей; куда то заблагорассудится господину Венцелю,

затем он представил ему стоявшего сзади него Кольгааса и предложил барону обратиться по этому поводу к нему самому; сам же, надев опять очки, принялся за бумаги.

Кольгаас, не выдав ни единым движением лица того, что происходило у него на душе, объявил, что готов отправиться на рынок для осмотра лошадей, приведенных туда живоде́ром. Смущенный барон обратился в сторону Кольгааса в то время, как тот снова подошел к столу, за которым сидел гротсканцлер, и передав ему еще несколько документов, касавшихся Люценского дела, раскланялся с ним, собираясь уходить. Барон весь красный, отойдя от окна, тоже подошел проститься с канцлером. Затем в сопровождении трех ландскнехтов, приставленных к Кольгаасу принцем Мейссенским, отправились они оба, пробираясь через толпу, на замковую площадь. Камерер Кунц, по совету друзей, которых у него здесь оказалось достаточно, дабы поддержать авторитет свой перед народом и дёббельским живоде́ром, тотчас подошел к ним и, держа с важностью свой меч под мышкой, обратился к Кольгаасу с вопросом, его ли это вороны, что стоят привязаны к двуколке? Конноторговец вежливо приподнял шляпу перед незнакомцем, обратившимся к нему с вопросом и, не отвечая ему, подошел в со-

провожении всех присутствующих рыцарей к повозке; еще издали увидя лошадей, которые, шатаясь от слабости и, понуря головы, стояли перед торбой с сеном, которого однако не трогали, он остановился и, обратившись в сторону камерера, сказал:

— Милостивейший государь! Живодёр прав—это мои лошади!—и, окинув взором рыцарскую свиту и, еще раз приподняв шляпу, удалился с площади в сопровождении стражи. Услыша это, камерер стремительно, так что султан на шлеме его закачался, подошел к живодёру и бросил ему кошелек с деньгами; пока тот, зачесывая на лоб волосы оловянным гребнем, стал подсчитывать деньги, камерер приказал работнику отвязать лошадей и отвести их домой. Заслыша приказ своего барина, работник, бросивши друзей и родственников, с которыми повстречался на рынке в толпе, и, слегка покраснев, стал осторожно пробираться через навозную лужу к лошадям. Но едва взял он за недоуздок, чтобы отвязать их, как его схватил за руку двоюродный брат его, мастер Химбольт, и со словами: «А, ну-ка тронь живодёрных кляч»—оттащил его от двуколки. Затем, осторожно переступив через навозную лужу, подошел к камереру, который в недоумении не знал что и сказать,—и, обратившись к нему, заметил, что пусть заведет себе живодёрных

дел мастера для исполнения подобного рода приказаний! Камерер, с пеной у рта, кинул яростный взгляд на мастера Химбольтда и, обернувшись, крикнул через головы окружавших его рыцарей, стражу; тотчас, по распоряжению барона фон-Венк из замка прискакал офицер с несколькими телохранителями курфюрста; камерер, рассказав вкратце о подом подстрекательстве местных жителей, приказал взять зачинщика Химбольтда под арест. Схвативши мастера за грудь, он обвинял его в том, что, когда по его распоряжению один из его конюхов подошел к повозке, чтоб отвязать вороных, он, обругав, оттолкнул работника, не дав ему исполнить приказания. Ловко вывернувшись из рук камерера, мастер заметил на это:—«Барин! ведь указывать двадцатилетнему парню, что ему делать, не есть еще подстрекательство! Спросите ка его самого, захочет ли он против обычая возжаться с такими лошадьми: захочет—его воля—пусть хоть с них кожу дерет!»

Услыхав это, камерер обратился к работнику, собирается ли тот отвязать лошадей Кольгаса и отвести их домой. Укрывшись за толпой, работник робко ответил, что раньше следовало бы привести их в порядок, а затем уж поручать ему такое дело; тогда камерер, подкравшись к нему сзади, сорвал с него

шляпу, украшенную его фамильным гербом, и топчя ее ногами, выхватил шпагу из ножен, начал бить его что есть мочи, прогнал его тотчас с площади и рассчитал со службы. Мастер Химбольдт крикнул тогда:

— Валите злодея этого наземь, чего тут смотреть!

Народ, возбужденный его словами, разогнав стражу, бросился к камереру, а мастер Химбольдт тем временем накинулся на него сзади и, повалив его, сорвал с него мантию, кружевной воротник, шлем, схватил из рук его меч и с яростью швырнул его далеко через площадь.

Напрасно помещик Вендель, вырвавшись из этой свары, звал рыцарей на помощь к своему двоюродному брату; при первой же попытке приблизиться к нему, натиском толпы они были отброшены назад и камерер, при падении расшиб себе голову, и был отдан всецело на волю расвирепевшей толпы.

Только появление отряда конных ландскнехтов, случайно проезжавших мимо, и призванных на помощь курфюрстовским офицером, спасло камерера от верной гибели. Офицер, разогнав толпу, схватил разъяренного мастера, и передал его всадникам, которые и отвели его в тюрьму; тем временем друзья подобрали злополучного камерера, всего окровавленного, и направились с ним во-свояси.

Вот каков был печальный исход доброй попытки дать конноторговцу удовлетворение за причиненную ему несправедливость.

Дёббельнский живодер, окончив тем самым возложенную на него обязанность и не желая терять ни минуты времени, только толпа стала расходиться, привязал лошадей к фонарному столбу, где они и простояли весь день на потеху уличным мальчишкам и прочим зевакам; лишь к ночи пришлось полиции взять их и послать за дрезденским живодером, чтобы тот впредь до дальнейших распоряжений отвел их на загородную живодёрню.

Происшествие это, в коем менее всего, конечно, был повинен Кольгаас, породило, однако, даже в людях самых благонамеренных и миролюбивых, настроение, весьма неблагоприятное для исхода его тяжбы. Отношение его к государству находили совершенно нетерпимым, и в частных домах стали поговаривать, да и открыто на улицах шли разговоры, что лучше поступить с ним скорей явно несправедливо, чем подымать все это дело сызнова и добиваться справедливости ценою нового ряда насилий, в деле по существу самом пустяшном, из одного лишь его непомерного упрямства. К полнейшей неудаче бедного Кольгааса сам грессканцлер, из чувства слишком большой законности и вытекавшей отсюда ненависти его к дому фон-

Тронка, должен был всячески поддерживать это настроение. Было весьма сомнительно, чтобы лошади, отданные на попечение дрезденского живодера, когданибудь да поправились и стали такими, какими были прежде на конюшнях в Кольгаасенбрюке; но если даже и допустить, что при умелом уходе это была бы вещь возможная, то при настоящих обстоятельствах это явилось бы таким позором для семейства помещика, происходившего из знатнейшего богатого дворянского рода, что, казалось, дешевле и проще было уплатить за вороных деньгами.

Получив письмо президента, графа Калльгейма с такого рода предложением от имени все еще болевшего камерера, гроссканцлер хотя и написал Кольгаасу, чтобы тот, в случае, если к нему обратятся с подобною просьбой, не отказал в ней, президенту же ответил коротко и не особенно любезно, что просит избавить его от частных поручений по этому делу, и советовал ему адресоваться с этим лично к Кольгаасу, человеку скромному и вполне справедливому.

Конноторговец, настойчивость которого, после всего происшедшего на рынке, действительно поколебалась, ждал, согласно письма гроссканцлера, какогонибудь заявления со стороны помещика или его родственников, и заранее был уже готов простить все, что

было, и принять их условия. Но гордым рыцарям казалось невместным сделать первый шаг; глубоко обиженные ответом канцлера, они показали его на следующий день курфюрсту, пришедшему навестить больного, еще неоправившегося от ран камерера.

Камерер слабым истощенным голосом спросил курфюрста, неужто после того как он жизнь свою положил из за этого дела, исполняя его же волю, он должен и честь свою отдать на посмеяние свету, обратившись с просьбой о снисхождении к человеку, покрывшему его невыносимым позором, а равно и всю семью его. Курфюрст, прочитавши письмо, спросил тоном неуверенным графа Кальхейма, в праве ли трибунал, не вступая в переговоры с Кольгаасом, заменить приговор денежным взысканием, и счесть вороных околевшими, раз их невозможно привести в надлежащий вид. Граф ответил: — «Ваша милость, они мертвы и в смысле государственного права, так как не имеют никакой цены, да и на самом деле они все равно околеют, прежде чем их успеют доставить из живодёрни в рыцарские конюшни»; — курфюрст, пряча письмо, ответил, что лично переговорит о том с гроссканцлером, и стал успокаивать камерера, который, приподнявшись в постели, с благодарностью схватил его руку; курфюрст, еще раз успокоив его, посоветовал ему беречься, затем под-

нялся и, милостиво простившись с ним, вышел из комнаты.

Таково было положение вещей в Дрездене, когда над бедным Кольгаасом разразилась новая, еще более сильная гроза, надвинувшаяся из Люцена, удар которой хитрые злокозненные рыцари сумели направить прямо на его горемычную голову. Дело было так: Иоганн Нагельшмидт, один из работников, примкнувших к конноторговцу, и отпущенный им после курфюрстовской амнистии, набрав, несколько недель спустя, шайку разного сброда, готового идти на разбой, появился на границах Богемии с намерением продолжать самому по следам Кольгааса прежнее дело. Этот молодец, отчасти для того, чтобы внушить страх сыщикам, преследовавшим его по пятам, отчасти для того, чтобы вовлечь деревенский люд в свои мошеннические затеи, — назвался наместником Кольгааса; набравшись ума у прежнего своего атамана, он стал распространять повсюду слухи, что многие из отряда, вернувшись мирно на родину, так и не получили амнистии, да и сам Кольгаас, по прибытии в Дрезден, вероломнейшим образом был схвачен и заключен под стражу; в указах, совершенно схожих с указами Кольгааса, эта новая шайка поджигателей именовала себя военной дружиной, собравшейся во славу божию, дабы отстоять обещанную

курфюрстом амнистию. Делалось все это, в сущности, для того, чтобы под видом преданности Кольгаасу и прославления имени божьего еще смелее и безнаказанней совершать грабежи и насилия. Когда первые известия о выступлении Нагельшмидта дошли до Дрездена, рыцари весьма обрадовались новому обороту, который приняло все это дело. Они с недовольством и многозначительно указывали на промах, сделанный вопреки всем их предостережениям, а именно—на дарованную Кольгаасу амнистию, которая якобы еще больше поощряла всевозможных проходимцев следовать его примеру. Не веря, чтобы Нагельшмидт с оружием в руках действительно отстаивал интересы Кольгааса, они, однако ж утверждали, что все это—новый замысел Кольгааса, с целью запугать правительство и заставить его во что бы то ни стало выполнить в точности все пункты судебного приговора. А кравчий господин Гинц зашел еще дальше в своих предположениях; однажды, в обществе нескольких придворных и егерей, собравшихся после обеда в приемном зале у курфюрста, он стал уверять их, что Кольгаас и не думал на самом деле распускать своей разбойничьей шайки в Люцене, что все это лишь подлая маскировка; посмеиваясь над любовью канцлера к справедливости, он стал ловко доказывать, что шайка попрежнему держится в ле-

сах курфюршества и ждет только приказа Кольгааса, чтобы снова огнем и мечем начать свои набеги. Принц Кристиерн Мейссенский, весьма недовольный подобным оборотом дела, могущим положить тень на славу его повелителя, тотчас отправился в замок к курфюрсту; прекрасно понимая намерение рыцарей на основе этих новых данных обвинить Кольгааса, если удастся, в еще новых преступлениях, он просил позволения немедленно учинить допрос конноторговцу.

Кольгаас, немало удивленный, прибыл в ратушу, будучи доставлен туда полицейским, держа на руках сыновей своих Гейнриха и Леопольда; их привез наместник Штернвальд из Мекленбурга, где они оставались все пятеро; по разным соображениям, которые долго было бы здесь излагать, он решил взять с собою на допрос детей, о чем они, как только он собрался уходить, упрашивали его, заливаясь горько слезами. Принц милостиво обратился к детям, которых Кольгаас усадил подле себя, спросив их, сколько им лет, как их звать, затем он сообщил Кольгаасу, что Нагельшмидт, бывший его работник, занимается открытым разбоем в долинах Рудных Гор; при этом он показал ему выпущенные Нагельшмидтом указы и, передавая их ему, спросил, что может он сказать в свое оправдание. Конноторговец пришел в ужас,

прочтя эти позорные и предательские листки, но ему, однако, не трудно было убедить такого прямодушного и честного человека, как принц, в неосновательности возводимых на него обвинений. Не только в силу его уверений, что в том положении, в каком находится теперь его дело, он не нуждается в помощи третьих лиц: бумаги и некоторые письма, предъявленные им принцу, ясно свидетельствовали, что незадолго перед тем, как распустить в Люцене свой отряд, вот этот самый Нагельшмидт был приговорен им к повешению за изнасилование и другие преступления; его спасла лишь курфюрстовская амнистия, вместе с коей распадалось и их повстанчество, а разошлись они на другой день самими заклятыми врагами.

С согласия принца, Кольгаас сел и написал Нагельшмидту послание, в котором он называл предлог — отстоять якобы нарушенную правительством амнистию «постыдной и бесовестной ложью»; кроме того, он сообщал, что по прибытии в Дрезден он вовсе не был ни арестован, ни заключен под стражу, и что дело его идет так, как он того и добивался, а за разбои, совершаемые теперь им и его шайкой в Рудных Горах уже после объявления амнистии, да ведает он, грозит опасность быть отданным под суд по всей строгости законов. При этом в поучение

народу, в послании своем он приводил выдержки из обвинительного акта, в силу которого этот негодяй, еще в бытность свою в Люценском замке, был приговорен им за свои злодеяния к виселице, которую, однако, избежал, как упомянулось выше, лишь благодаря курфюрстовской амнистии. Затем принц успокоил Кольгааса насчет подозрения, невольно падавшего на него, вследствие чего он и был подвергнут допросу, при чем обещал ему, что пока он, принц, находится в Дрездене, амнистия, дарованная ему, ни в коем случае не будет нарушена; затем, угостив мальчиков плодами, стоявшими на столе, подал им на прощанье руку и, простившись с Кольгаасом, отпустил его. Узнав об опасности, грозившей конноторговцу, гроссканцлер употребил все старания, чтобы ускорить окончание дела, пока оно не усложнилось еще новыми событиями, на которые сильно рассчитывали хитроумные рыцари; вместо того, чтобы ограничиться, как это было сначала, безмолвным признанием своей вины,—теперь, они путем различных хитростей и крючкотворства стали вовсе отрицать какую бы то ни было за собою вину. То они утверждали, что воронье Кольгааса были задержаны в Тронкенбургском замке самочинно фогтом и кастеляном без ведома самого помещика, то будто бы лошади прибыли туда

уже с сильным кашлем, в доказательство чего предлагали даже вызвать подкупленных ими для этого свидетелей; но по доскональном выяснении обстоятельств, потерпев полную неудачу, они решили откопать курфюрстовский эдикт, двенадцатилетней давности, за-прещавший в свое время по случаю падежа скота ввоз лошадей из Бранденбургского курфюршества в Саксонию; им непременно хотелось применить его к лошадям Кольгааса, и они доказывали, что помещик не только мог, но был обязан задержать их на границе.

Тем временем Кольгаас выкупил обратно свой хутор у честного старосты в Кольгаасенбрюке, уплатив ему при этом незначительную сумму за понесенные им убытки, и собирался было выехать по этому делу из Дрездена на несколько дней к себе на родину; предлог для поездки был весьма уважительный, тем паче, что надо было позаботиться об озимых посевах, а главное ему хотелось хорошенько обдумать свое положение в виду столь сложных и неожиданных обстоятельств, а может быть тут были еще и какие другие причины, о которых предоставляем читателю догадываться каждому по своему.

И вот он отправился к канцлеру, один, без приставленной к нему стражи, и сообщил ему, показав письма старосты, что желал бы вы-

ехать в Бранденбург, если только не требуется сейчас присутствия его по делу в суде, обещая при этом вернуться дней через восемь-двенадцать. Канцлер, недовольный просьбой Кольгааса, избегая взгляда, раздумчиво ответил ему, что именно теперь присутствие его более всего необходимо, так как вследствие всевозможных козней и происков его противников могут не раз потребоваться от него свидетельские показания и дополнительные разъяснения; но Кольгаас указал на своего поверенного, которому хорошо были известны все подробности дела, и настаивал, правда в самой вежливой форме, на своем отъезде, обещая сократить свою поездку до восьмидневного срока; канцлер, подумав, наконец согласился, при чем выразил уверенность, что за пропуском он обратится к принцу Кристиерну Мейссенскому.

Догадавшись по лицу канцлера, в чем тут дело, Кольгаас еще более утвердился в своем намерении уехать, и потому тотчас сел и написал принцу Мейссенскому, как наместнику области, прошение выдать ему пропуск для поездки в Кольгаасенбрюк сроком на восемь дней, не указывая при этом причин своего отъезда. На прошение свое он получил резолюцию за подписью дворцового начальника, барона Зигфрида фон-Венк, в которой говорилось, что о его просьбе будет доложено

его светлости, а ответ будет доставлен ему немедленно по разрешении. Спросив у своего поверенного, отчего резолюция подписана не принцем Мейссенским, а бароном фон-Венк, Кольгаас узнал, что принц, вот уже три дня, как выехал в свои поместья, и что всеми делами на время его отсутствия ведаает барон Зигфрид фон-Венк, двоюродный брат вышеупомянутого барона фон-Венка, приятеля фон-Тронка.

С тревогою в сердце ждал Кольгаас много дней под ряд ответа на свое прошение, написанное весьма пространно, и обращенное лично к курфюрсту. Но прошла неделя, другая, а ответа все не было и не было; не получал он и судебного решения, обещанного ему к этому времени. Тогда на двенадцатый день, твердо решив выяснить отношение к себе правительства, все равно, каково бы оно ни было, он снова обратился к нему с настойчивой просьбой о выдаче ему пропуска.

Каково же было его изумление, когда, прождав весь день, под вечер следующего дня все еще в ожидании ответа, расхаживая по комнате, раздумывая о своем положении и особенно о выхлопотанной ему доктором Лютером амнистии, и подойдя случайно к окну своей светелки, он вдруг заметил, что во дворе во флигеле нет уже стражи, приставленной

к нему с самого начала принцем Мейссенским. Он крикнул старика Томаса и спросил, где же ландскнехты и что все это значит?

— Хозяин,—отвечал ему тот со вздохом,— не все то выходит, как думалось: наряд ландскнехтов сегодня больше, чем обычно. Еще с наступлением сумерек они окружили весь дом; двое стоят со щитами и копьями у выхода на улицу, двое — у черных дверей, что ведут в сад, а двое завалилось в сених прямо на вязанку соломы, объяснив, что будут там и ночевать.

Кольгаас, побледневши, сказал:

— Ну, все равно сколько их там;—когда будешь выходить, поставь им свет, чтобы было видно.

И под предлогом выплеснуть воду, он открыл наружный ставень окна; ему пришлось убедиться в истине слов старика (как раз в это время бесшумно сменялся караул, чего раньше никогда не бывало), и хотя ему было и не до сна, он все таки лег в постель, с твердо принятым намерением, как быть завтра. Ничто так не возмущало его в распоряжениях правительства, с которым теперь ему приходилось иметь дело, как эта мнимая законность,—обещанная ему амнистия на самом деле нарушалась; и, если он уже действительно находится под арестом, что, как видно, не под-

лежит теперь ни малейшему сомнению, то он будет требовать, чтобы это было ясно и определенно ему заявлено. И вот, на следующее утро, лишь только забрезжил рассвет, он велел работнику Штернбальду заложить возок, с тем, чтобы отправиться в Локкевиц к старшине, старому своему знакомому, который, встретившись с ним на этих днях в Дрездене, звал его с детьми к себе в гости. Ландскнехты только легли спать и еще шушукались между собой; заметив движение в доме и приготовления к отъезду, они послали тайком одного из своих сообщить об этом в город; вскоре прибыло несколько сыщиков с полицейским чиновником во главе; они зашли в дом напротив, будто по делу. Кольгаас, одевая сыновей в дорогу, это тотчас заметил, и нарочно дольше, чем то требовалось, держал возок у подъезда. И вот, когда полиция уже расположилась в засаде, он вышел вместе с детьми на улицу, и не обращая на все это ни малейшего внимания, объявил, проходя мимо стоящих у дверей ландскнехтов, что им нечего следовать за ним. Он поднял и усадил мальчиков в возок, успокоил и поцеловал на прощанье плакавших дочерей, которые должны были по его распоряжению остаться на попечении дочки старика Томаса. Едва он успел сесть в возок, как к нему подошел полицейский чиновник в сопровожде-

нии сыщиков и обратился с вопросом, куда он едет. Кольгаас ответил, что он направляется в Локкевиц, к старшине, своему другу, который приглашал его давеча с детьми к себе в деревню, в гости. Чиновник заметил на то, что в таком случае ему придется обождать несколько минут, так как по распоряжению принца Мейссенского его должны сопровождать несколько конных ландскнехтов. Кольгаас, сидя уже в повозке, спросил, улыбнувшись, неужто он думает, что ему может грозить какая либо опасность в доме его друга, пригласившего его к себе погостить на денёк? Чиновник любезно и шутиливо ответил, что опасность то, положим, и не велика, но и ландскнехты ведь тоже ничуть не помещают. Кольгаас возразил на это уже совершенно серьезно, что по приезде своем в Дрезден принцем Мейссенским ему было предоставлено право пользоваться стражей по собственному своему усмотрению. Чиновник, будто удивившись этому, начал осторожно ссылаться на то, что стража приставлена к нему на все время его пребывания здесь; тогда конноторговец рассказал, по какой причине она была поставлена в его доме. Чиновник заверил его, что по приказу дворцового коменданта барона фон-Венк, состоящего ныне шефом полиции, он обязан непрерывно его охранять, и если он не желает ехать в сопровождении ландс-

кнехтов, пусть потрудится заявить о том лично в полицейском управлении, во избежание могущих произойти недоразумений. Кольгаас, выразительно посмотрев на него и твердо решив про себя выяснить все это дело, ответил, что он намерен немедленно же отправиться к барону; с беспокойным сердцем встал он с повозки, приказав Томасу отвести детей в сени, а кучеру велел дожидаться у подъезда, сам же направился в сопровождении чиновника и стражи в управление. Как раз в это время дворцовый комендант барон Венк был занят допросом нескольких человек из банды Нагельшмидта, пойманных накануне вечером в окрестностях Лейпцига; рыцари вели опрос относительно многих, не безынтересных для них подробностей. Заметив вошедшего в зал Кольгааса, рыцари смолкли и приостановили допрос. Барон, подойдя к нему, спросил, что ему угодно? Кольгаас самым почтительным образом сообщил о своем намерении отправиться в гости к старшине в Локкевид, а так как охрана ему не нужна, то он просит ее снять. Барон, меняясь в лице, но стараясь скрыть свои настоящие мысли, ответил, что не мешало бы ему остаться дома и пока что отложить свою пирушку в Локкевиде; затем, обрывая разговор и обратившись к чиновнику, объявил, что следует поступить, как велено, и что человеку этому разрешить вы-

езд из города можно не иначе, как под охраной шести верховых.

Кольгаас спросил, арестован ли он и неужели амнистия, данная ему торжественно перед лицом всего народа, нарушена? В ответ на это барон, весь побагровев, подойдя к нему вплотную и глядя на него в упор, крикнул:—«Да! Да! Да!»—и повернувшись спиной, подошел к людям из шайки Нагельшмидта продолжать допрос. Кольгаас, уходя из залы, понял, что единственное остающееся к спасению средство—это побег; но хотя после сделанных им шагов устроить его было куда сложнее, все же он находил поведение свое правильным, и не считал себя отныне связанным никакими условиями амнистии. Вернувшись домой, он велел распрячь лошадей и в сопровождении полицейского чиновника, расстроенный и печальный, вошел в свою комнату; противно было слышать ему, когда чиновник самым наглым образом стал уверять, что это только недоразумение, которое вскоре выяснится, однако ж сыщики, по данному им знаку, заперли все выходы во двор, а чиновник тем временем продолжал доказывать, что главный выход на улицу остается в полном его распоряжении.

А в это время в лесах Рудных Гор полицией и ландскнехтами на Нагельшмидта была устроена подлинная облава; теснимый со всех

сторон и видя, что, не имея поддержки, ему нет никакой возможности продолжать взятую на себя роль, он вспоминает о Кольгаасе; встретившись по дороге с одним проезжим из Дрездена, он узнает от него довольно подробно о делах конноторговца и решает, что, несмотря на их открытую вражду, ему все же, может быть, удастся сызнова заключить союз с Кольгаасом. И вот он отправляет к нему гонца с письмом, написанным крайне безграмотно, следующего содержания:

«Ежели вы согласны прибыть в Альтенбург и взять снова под свое начало отряд, составленный мною из распущенных вами людей, я обещаюсь содействовать вашему побегу из под дрезденского ареста лошадьми, людьми и деньгами; а что до меня, то я ютов лично вам во всем повиноваться; вообще же обещаюсь быть более толковым и послушным, чем прежде, а в доказательство моей верности и расположения к вам, обязуюсь лично прибыть в окрестности Дрездена и помочь освобождению вашему из тюрьмы».

Как на беду, с гонцом, везшим это письмо, в одной деревушке, уже под самым Дрезденом, возьми да случись припадок падучей, которою он страдал еще с самого детства; люди, явившиеся к нему на помощь, нашли у него за пазухой зашитым это письмо; как

только он пришел в себя, его арестовали и под стражей, в сопровождении целой толпы народа, препроводили в город.

Прочитавши нагельшмидтовское письмо, дворцовый комендант фон-Венк тотчас отправился в замок к курфюрсту, где застал Гинца и Кунца, уже поправившегося после своего ранения, а также президента государственной канцелярии графа Кальхейма. Эти господа были того мнения, что следует немедленно арестовать Кольгааса и судить за тайное соглашение с Нагельшмидтом; они доказывали, что вообще подобное письмо не могло быть написано без предварительных изменнических переговоров со стороны конноторговца, и что все это велось к тому, чтобы сызнова начать грабежи и разбои.

Курфюрст упорно отказывался на основании одного этого письма лишить Кольгааса дарованной ему свободы; он был того мнения, что из письма Нагельшмидта явствует скорее, что напротив между ними не было никакого предварительного сговора; после долгих колебаний он решил, дабы выяснить все это, согласиться на предложение президента вернуть письмо посланцу Нагельшмидта с тем, чтобы он передал его по назначению, не говоря при этом ни слова, что он был арестован, а затем уж узнать—ответит ли тот на него. На следующее утро гонец был осво-

божден из тюрьмы и доставлен в управление, где дворцовый комендант, отдавая ему обратно письмо Нагельшмидта, заявил, что он будет освобожден и помилован, если передаст его конноторговцу, скрыв обо всем случившемся; на эту подлую хитрость наш молодец тотчас согласился и, выдав себя за продавца раков,— которыми его снабдил на рынке полицейский чиновник,— с мнимо таинственным видом пробрался в дом к Кольгаасу. В другое время, прочтя нагельшмидтовское послание, он, должно быть, схватил бы подобного мошенника за шиворот и передал бы его в руки ландскнехтов, кстати стоявших тут же у дверей; но при том настроении умов, какое царило теперь, он ясно понимал, что ему ничем не выпутаться из того положения, в котором он очутился; с грустью глянул он на хорошо знакомого ему парня, спросил, где он остановился, и назначил ему зайти за ответом через несколько часов. Штернбальду, случайно вошедшему в это время в комнату, он велел купить раков у мнимого продавца, и когда оба они вышли, будто не узнав друг друга, он сел и написал Нагельшмидту следующий ответ:

«В первых строках моего письма сообщаю тебе, что предложение твое взять на себя начальство над отрядом в Альтенбурге—

я принимаю; для освобождения из под ареста, в котором нахожусь вместе с моими пятерыми детьми, — выслать мне парную подводу в Нейштадт, что под Дрезденом, — а для скорейшего следования необходимо дать на подставу еще пару лошадей на Виттенберский тракт, ибо только этим окольным путем по причинам, которые теперь слишком доло изложить, могу я проехать к тебе; хотя я надеюсь, что можно будет подкупить ландскнехтов, которые меня караулят, однако ж, ежели это не удастся и придется действовать силой, надобно будет для этого отправить несколько преданных толковых и хорошо вооруженных людей на подмону в Нейштадт, что под Дрезденом; на все необходимые в связи с этим расходы пошли мне через когонибудь из твоих людей двадцать крон золотом; я сочтуса с тобой по успешном окончании дела; что же касается твоего личного присутствия в Дрездене — для моего освобождения это не требуется, я приказываю тебе находиться безусловно в Альтенбурге, дабы отряд твой ни в коем случае не оставался без атамана».

Письмо это он вручил гонцу, который явился за ним, как только начало смеркаться; он щедро наградил посланца, заклиная беречь письмо, как зеницу ока. Его намерением

было отправиться вместе с пятерыми детьми в Гамбург, а оттуда отплыть на корабле в Левант, или Ост-Индию, или еще куданибудь подальше, под иные небеса, где воздух синее и люди другие. Ему противно было быть в сообществе с Нагельшмидтом и не было у него, усталого от неудач и несчастий, никакой охоты заботиться больше о воронах. Только наш молодец передал письмо замковому коменданту, как гроссканцлер был смещен, а на его место шефом трибунала был назначен граф Кальхейм; Кольгаас по приказу кабинета был арестован, заключен в тяжелые оковы и отправлен в городскую темницу. На основании этого письма, расклеенного по всему городу, он был предан суду; на вопрос, предложенный судьями трибунала, признает ли он почерк письма за свой, он ответил—«да!», на вопрос имеет ли что сказать в свое оправдание, он, опустив глаза, отвечал—«нет!» И вот его приговорили к пытке калеными шипцами и четвертованию, а затем сожжению между колесом и дыбой.

Таковы то были дела в Дрездене, когда курфюрст Бранденбургский выступил, чтобы спасти бедного Кольгааса из рук произвола и насилия. Он отправил через государственную канцелярию ноту, в которой объявил Кольгааса бранденбургским подданным. Дело в том, что доблестный воевода Гейнрих фон-

Гейзау, беседуя однажды во время прогулки по берегам Шпрее с курфюрстом, рассказал ему необыкновенную историю этого удивительного и отнюдь не плохого человека; на настойчивые расспросы изумленного правителя он не смог скрыть от него, что виной всему непорядочность его эрцканцлера Зигфрида Кальхейма, который всячески притеснял Кольгааса; и что все это тем самым ложится как будто на самого повелителя; глубоко возмущенный этим курфюрст призвал к себе эрцканцлера и, допросив его, убедился, что причина всего кроется в том, что он, эрцканцлер, состоит в родстве с семьей этого самого фон-Тронка; тогда он немедленно отставил от должности графа Кальхейма, выразив ему свою немилость, а на его место назначил Гейнриха фон-Гейзау. Но совпало так, что королевство польское, враждовавшее в ту пору по поводу чего то с Саксонией, неоднократно и настойчиво предлагало курфюрсту бранденбургскому вступить с ним в союз против Саксонии; и вот эрцканцлер господин Гейзау, как человек многоопытный в подобного рода вещах, сообразил, что при таких обстоятельствах его повелитель будет доволен, если он, как бы дорого то ни стоило, а станет отстаивать Кольгааса, конечно, не ставя при этом на карту общего спокойствия ради одного чело-

века. Поэтому эрцканцлер настаивал на том, чтобы, вместо произвольного, безбожного и бесчеловечного обращения с Кольгаасом, его бы выдали безусловно и немедленно Бранденбургу, дабы судить его там согласно бранденбургским законам, и если признать виновным, то лишь по обвинительному акту, составленному прокурором из Берлина, которого дрезденский двор может вызвать по этому случаю; он затребовал даже немедленной выдачи паспорта прокурору, которого курфюрсту желательно прислать в Дрезден по делу об отнятых у Кольгааса на Саксонской территории вороных и понесенных им от помещика Венцеля фон-Тронка чудовищных обид и насилий. Господин камерер Кунц, получив при смене государственных должностей в Саксонии место президента государственной канцелярии, по некоторым, особенно личным соображениям, а также не желая обидеть берлинского двора, находившегося в ту пору в затруднительном положении, ответил от имени курфюрста, весьма огорченного полученною нотой, что нельзя не удивиться той нелюбезности и неправоте, с кою у дрезденского двора отнимают право судить Кольгааса по законам той страны, где совершено преступление; а к тому же всем ведомо, что Кольгаас владеет земельным наделом в районе столицы и сам отнюдь не отказывается от

саксонского подданства. Но тем временем королевство Польское, добиваясь исполнения своих притязаний, уже стянуло к саксонской границе пятитысячное войско; тогда эрцканцлер Гейнрих фон-Гейзау поспешил объявить, что Кольгаасенбрюк, местечко, по имени которого называется конноторговец, находится в курфюршестве Бранденбургском, и приведение в исполнение смертного приговора над Кольгаасом будет сочтено за нарушение международного права; тогда курфюрст по совету господина камерера, не желавшего впутываться в это дело, вызывает к себе принца Кристиерна Мейссенского, жившего в то время в одной из своих вотчин, и, посоветовавшись с этим благоразумным человеком, соглашается выдать Кольгааса Берлинскому двору.

Принц, хотя и недовольный неловкостью, возникшей при этом, должен был однакож согласно воли своего повелителя, попавшего в затруднительное положение, взять на себя ведение кольгаасовского дела; он спросил курфюрста, почему он настаивает на том, чтобы конноторговца судили теперь непременно в Берлинском верховном суде, указав при этом, что его ведь нельзя привлечь за изменническое письмо к Нагельшмиду, написанное при столь невыясненных еще обстоятельствах, равно как и за прежние его

набеги и поджоги, ибо они были прощены ему согласно обнародованному указу. Взвесив это, курфюрст решает отправить донесение его величеству королю австрийскому о вооруженном нападении Кольгааса на Саксонию, о нарушении им спокойствия страны, дав тем самым возможность его величеству, не связанному никакой амнистией, привлечь Кольгааса к королевскому суду через государственного прокурора. Неделю спустя курфюрст Бранденбургский велел рыцарю Фридриху фон-Мальцан отправиться в Дрезден и доставить оттуда Кольгааса, закованного в цепи, в сопровождении шести ландскнехтов; его посадили на подводу и отправили в Берлин, вместе со всеми пятью детьми, которых по его просьбе взяли назад из сиротского дома. Случилось так, что курфюрст Саксонский, по приглашению своего наместника графа Алоизиуса Кальхейма, владевшего значительными поместьями близ саксонской границы, выехал, в это время на большую оленью охоту, устроенную для его развлечения в местечке Дааме; в свите его находились: камерер Кунц со своею супругой, придворною дамой Элоизой, дочь наместника и сестра президента, и много других блистательных дам и рыцарей, придворных егерей и доезжачих, их всех не перечесть. И вот, когда охотники, покрытые еще дорожной

пылью, под звуки веселой музыки, доносившейся из за старых дубов, восседали в расцветченных флагами палатках, пестро раскинувшихся на придорожном холме, а вокруг суетились паж и слуги—медленно проезжал под конвоем шести всадников мимо по дрезденскому тракту Кольгаас. Один из его малышей в дороге заболел, и это заставило сопровождавшего его рыцаря фон-Мальцан сделать трехдневную стоянку в Герцберге, о чем он не счел нужным оповещать дрезденские власти, так как полагал себя ответственным единственно перед Бранденбургом, у которого состоял на службе. Курфюрст Саксонский в шляпе, украшенной перьями и по обычаю охотников еловыми ветками, с распахнутой грудью сидел, отдыхая, рядом с придворною дамой Элоизой, которая в ранней молодости была его первой любовью; убавоканный прелестью пира, он весело молвил:

— Давайте выйдем на дорогу и поднесем вот этот кубок вина первому несчастливцу, кто бы он ни был!—Госпожа Элоиза, с нежностью поглядев на него, тотчас встав, взяла серебряный поднос, который ей подал паж, положила туда целую гору плодов, пирожных, сладостей и хлеба; остальные, отобедав и выпив, с шумом покинули уже палатку—вдруг навстречу к ним вышел наместник, и со сму-

ценным видом стал их просить не выходить пока на дорогу.

На изумленный вопрос курфюрста, что случилось и чем он так встревожен, тот запинаясь ответил, обратившись в сторону камерера, что сейчас по дороге проезжает в кибитке известный Кольгаас. Это показалось странным; всем было хорошо известно, что Кольгаас уже шесть дней тому назад, как выехал из Дрездена. И вот камерер Кунц поднял свой кубок с вином и, повернувшись спиною к палатке, выплеснул его на землю. Курфюрст, весь покраснев, поставил свой кубок на поднос, поданный ему, по приказанию камерера, пажем; в это время рыцарь Фридрих фон-Мальцан, почтительнейше раскланиваясь перед незнакомым, знатным обществом, медленно проезжал мимо палаток по дороге в Дааме; по приглашению наместника все вернулись обратно в палатку с тем, чтобы позабыть о случившемся. Только курфюрст прилег отдохнуть, как наместник отправил тайком гонца в Дааме с предписанием магистрату, чтобы Кольгаас следовал дальше без остановки; но так как рыцарь фон-Мальцан объяснил, что в виду позднего часа им все же придется здесь заночевать, ему было разрешено сделать привал на мызе, принадлежащей магистрату, и расположенной в лесу, вдали от города. Под вечер рыцари, сытно

поужинав и насладившись добрым вином, казалось, позабыли вовсе о существовании Кольгааса, и снова разбрелись по лесу; хозяин предложил устроить снова облаву на стадо оленей, показавшихся в лесной гущине. Это с радостью было принято; накинув ружья, все тотчас ринулись парами через холмы и доли в ближайшее лесничество; курфюрст со своею дамой Элоизой, пожелав поглядеть на это зрелище, направились тоже в лес; случилось так, что приставленный к ним ловчий завел их невзначай во двор той мызы, где под охраною бранденбургских ландскнехтов остановился Кольгаас.

Узнав об этом, Элоиза, сказала курфюрсту: — Пойдем, пойдем, пока нас не нагнали остальные, проберемся на мызу и посмотрим на этого удивительного человека, остановившегося там на ночлег!—пряча при этом шаловливо в разрез его шелкового наряда цепь, которая висела у него на шее. Курфюрст, покраснев, схватил ее за руку:—«Элоиза! К чему это?»— Но она, робко посматривая на него, стала уверять, что в охотничьем наряде его ведь никто не узнает, и увлекала его за собой. В это время из домика мызы вышло несколько ловчих, которые уже успели удовлетворить свое любопытство; они объявили, что все меры предосторожности наместником приняты, и что ни рыцарь, ни Кольгаас не подозре-

вают, какое общество находится в окрестностях Дааме; тогда курфюрст, улыбнувшись, надвинул шляпу на глаза и со словами:— «Глупость, ты правишь миром и убежище твое прелестные женские уста!» — последовал за Элоизой. Когда они вошли во двор, Кольгаас сидел в это время на соломе, прислонившись к стене и поил молоком заболевшего в Гердберге своего ребенка; дама, желая завязать разговор, спросила его, кто он такой, чем болен его ребенок, какое преступление совершил он и куда везут его под такой усиленной стражей? Кольгаас, сняв кожаную шапку, но продолжая кормить ребенка, ответил коротко и толково на все ее вопросы. Курфюрст, стоявший позади ловчих, заметил на шее у Кольгааса на шелковом шнурке маленький оловянный медальон и, не находя лучшего предмета для беседы, спросил, что это за медальон и что в нем хранится?

— Да вот, ваша светлость, медальон!— ответил Кольгаас, снимая его с шеи и доставая спрятанную в нем маленькую запечатанную записку:— с ним связан у меня удивительный случай! После похорон моей жены, тому уже скоро будет семь новолуний, выступил я, может быть вы слышали—из Кольгаасенбрюка, чтобы захватить помещика фон-Тронка, причинившего мне столько несчастий; путь мой лежал через торговое местечко

Ютербог, где в то время курфюрст Саксонский и Бранденбургский повстречались друг с другом, уж не знаю для какого совещания; вечером, гуляя по улицам города, и дружески беседуя меж собой они должно заметили, весело раскинувшись на площади, ярмарку и зашли поглядеть, там встретили они одну цыганку; присевши на скамейке, она ворожила что то по календарю обступившей ее толпе. Они тоже подошли к ней и спросили, не погадает ли она и им чего? Я в это время, только что прибыв с моим отрядом, остановился на постоялом дворе, и находясь случайно на площади, видел, что происходило, так как стоял вблизи за толпой у церковной паперти; мне правда трудно было расслышать, что говорила им эта ворожея; в народе посмеивались, что она, мол со всеми то станет делиться своею наукой. Все толпились, чтобы поближе подойти к ней; я, не очень то любопытствуя, уступил место другим, а сам встал на каменную приступку у паперти. Только я там расположился, чтоб хорошенько разглядеть обоих господ и цыганку, сидевшую перед ними на скамейке и выводившую какие то каракули: вдруг она встает и, опираясь на свой костыль, вглядывается в толпу, точно ища кого то; взор ее остановился на мне, хотя я никогда в жизни ее не видывал, и надо сказать вовсе не интересовался ее

наукой,—пробирается ко мне через толпу и говорит:—«Вот, ежели господин этот желает что узнать, пусть спросит о том у тебя!»

И подает она мне костлявыми своими руками вот эту самую записку. Я изумился, народ весь смотрит на меня, и спрашиваю у нее:

— Матушка, что же это ты мне даешь такое?—В ответ она бормочет что то непонятное, но я слышу к великому моему изумлению, она называет мое имя:—

— Это амулет, коневод Кольгаас; крепко храни его, он когданибудь да спасет тебе жизнь!—и с тем исчезает.

— Ну правду сказать,—продолжал добродушно Кольгаас,—как туго мне ни пришлось в Дрездене, все же я остался в живых, а что ждет меня в Берлине, то уж время само покажет.—

Услышав этот рассказ, курфюрст опустился на скамью; на смущенный вопрос своей дамы он успел только сказать — «да ничего, ничего!»—и упал на землю без чувств, прежде чем его спутница успела подбежать к нему на помощь. Войдя зачем то в комнату, рыцарь фон-Мальцан в ужасе воскликнул:— «Боже праведный, что с ним случилось?»—

— Воды, скорее воды!—крикнула дама. Ловчие подняли его и перенесли на кровать в соседнюю комнату; и велико было всеобщее

смятение, когда камерер, вызванный одним из пажей, после неоднократных попыток привести курфюрста в сознание, заявил: — «Все признаки, что с ним приключился удар!»

Пока кравчий снаряжал верхового в Луккау за врачом, наместник распорядился, только курфюрст пришел немного в себя, перенести его тотчас в кибитку и отвез его осторожно в находившийся по близости свой охотничий замок; но по прибытии туда, утомленный дорогой, он снова дважды впадал в обморок; и только поздно утром, когда приехал врач из Луккау, ему как будто и немного полегчало, но выяснилось, что у него все признаки нервной горячки.

Как только вернулось к нему сознание и он смог приподняться на постели, первым же его вопросом было: «Где Кольгаас?» Камерер, не разобрав вопроса, умоляя не волноваться из за этого ужасного человека, ибо он по его распоряжению после странного и загадочного происшествия на мызе в Дааме, все еще находится там под охраной бранденбургских всадников. Камерер объяснил, что сделал уже жестокий выговор своей жене за ее непростительное легкомыслие свести курфюрста с этим человеком, и под предлогом горячего сочувствия позволил себя спросить, что же ужасного было в их разговоре с Кольгаасом, что могло его так рас-

строить? Курфюрст ответил:—«Должен тебе признаться, виною всему ничтожная записка, хранящаяся у этого человека в оловянном медальоне». Он стал рассказывать еще кое какие подробности, из коих камерер, однако, ничего не понял; затем вдруг, судорожно сжав его руку, проговорил, что для него чрезвычайно важно обладать этой запиской, и стал просить камерера скакать немедленно в Дааме и ценой чего бы ни стало, но добыть ее у Кольгааса. Камерер, скрывая с трудом свое смущение, заметил, что, если записка эта имеет для него такое значение, необходимо непременно скрыть это от Кольгааса, ибо в противном случае всех его сокровищ не хватит, чтобы выкупить ее у этого жестокого и злопамятного человека. Чтобы успокоить курфюрста, он объявил, что надо непременно прибегнуть к хитрости и поручить незаинтересованному в этом деле лицу вырвать записку из рук злодея, для которого она несомненно ничего сама по себе ценного не представляет.

Курфюрст, утирая выступивший на лице пот, спросил, нельзя ли послать когонибудь тотчас в Дааме, чтоб задержать конноторговца, и все равно каким способом, но достать у него эту записку. Камерер, подумав, не рехнулся ли его господин, заметил на это, что, к сожалению, конноторговец, наверно, уже

выехал из Дааме и, верно находится теперь по ту сторону границы, на Бранденбургской земле, где малейшая попытка его задержать или стеснить его свободу может вызвать весьма неприятные и серьезные последствия, из которых потом и не выпутаться; видя, что курфюрст в полном отчаянии безмолвно опустил на подушку, он спросил его, что содержит в себе эта записка, в силу какой странной и необъяснимой причины ему известно, что содержание касается лично его. Глянув недоверчиво на камерера, тот ничего не ответил; с неподвижным взором, с тревожно бьющимся сердцем лежал он, перебирая кружево своего носового платка, который рассеянно держал в руках; вдруг, он попросил позвать к себе будто по какому то делу ловчего Штейна, ловкого статного юношу, которому он не раз давал поручения по своим тайным делам. Рассказав ему, в чем дело, и объяснив, какое значение имеет для него эта записка, находящаяся теперь в руках у Кольгааса, он спросил, хочет ли он в награду, если добудет ее прежде, чем Кольгаас успеет прибыть в Берлин, получить навсегда право на его дружбу. Ловчий, смекнув, как ни загадочно было порученье, ответил, что он весь к его услугам. Тогда курфюрст велел ему тотчас скакать в догонку за Кольгаасом, и так как, вероятно, его нельзя будет под-

купить деньгами, он советовал, заведя хитрый разговор, посулить ему за нее жизнь и свободу, и если бы он потребовал того немедленно, тайно снабдить его людьми, лошадьми и деньгами и всем нужным для его побега из рук Бранденбургской стражи. Ловчий, попросив письменного подтверждения слов курфюрста, немедленно выехал с несколькими слугами; гоня во весь дух коней, им удалось нагнать Кольгааса в одной пограничной деревне, где тот вместе с рыцарем фон-Мальцан и своими детьми остановился на отдых под открытым небом; как раз в это время Кольгаас собирался обедать; он сидел у дверей избы со своими детьми. Ловчий выдал себя за путешественника чужестранца, который, встретивши по пути знаменитого Кольгааса, желал бы его повидать. Рыцарь отнесся к нему чрезвычайно любезно, познакомил его с Кольгаасом, и предложил ему отобедать вместе с ними. Рыцарь Мальцан то и дело отлучался для разных дорожных распоряжений, всадники же обедали в противоположной стороне избы, и таким образом ловчий имел возможность сообщить Кольгаасу, кто он и с каким поручением прибыл к нему. Кольгаасу уже было известно имя того человека, с которым при виде оловянного медальона сделался обморок на мызе в Дааме, и которому, если бы он только узнал тайну записки, пришлось бы

окончательно лишиться чувств. Но Кольгаасу не хотелось из простого любопытства ее распечатывать; он твердо решил в виду неблагодарного обращения с ним курфюрста, какой бы жертвы это ему ни стоило, оставить ее при себе. Поэтому на вопрос ловчего, что за необъяснимая причина столь странного отказа, когда ему предлагают взамен жизнь и свободу:

— Благороднейший рыцарь—ответил Кольгаас,—если бы ваш владетельный князь явился ко мне и сказал: «я готов сгинуть со всеми своими придворными, которые мне помогают управлять страной»—понимаете?—сгинуть, чего бы я искренно, между прочим, желал,—то и тогда я не отдал бы ему записки, которая ему, видно, дороже жизни! Я сказал бы ему: «ты властен вести меня на эшафот, но я могу причинить тебе боль, и я этого хочу!» И глядя в лицо своей неминуемой смерти, он крикнул одного из всадников, под предлогом отдать ему миску с едой, предложив доесть вкусное кушанье, и уж до самого отъезда не обращал никакого внимания на ловчего, сидевшего за столом, будто его там и не было. Только садясь в повозку, обернулся он к нему и взглядом простился с ним.

Состояние здоровья курфюрста, по получении им этого известия, настолько ухудшилось, что врач в течение нескольких дней почти

не ручаясь за его жизнь. Лишь благодаря своей крепкой натуре, после нескольких мучительных недель, проведенных в постели, он оправился настолько, что его смогли перевезти в карете, всего обложенного подушками и закутанного в одеяла, в Дрезден, куда его к тому же призывали неотложные правительственные дела. Тотчас по приезде он послал за принцем Кристиерном Мейссенским, чтобы узнать, все ли готово к отъезду судьи Эйбенмайера, которого предположено было отправить в Вену с докладом его величеству по обвинению Кольгааса в нарушении спокойствия страны. Принц ответил, что судья, согласно приказу, данному им же самим перед отъездом в Дааме, выехал в Вену тотчас по прибытии в Дрезден ученого юриста Цейнера, присланного курфюрстом Бранденбургским в качестве прокурора с жалобой в суд на помещика Венделя фон-Тронка по делу о воронях. Курфюрст покраснел и, подойдя к своему рабочему столу, немало удивился такой поспешности, заметив при этом, что до окончательного решения дела не мешало бы сперва переговорить с доктором Лютером, выхлопотавшим Кольгаасу амнистию, и что следовало вообще подождать более определенного распоряжения. Сдерживая при этом свое недовольство, он разбросал лежавшие на столе доклады и бумаги.

Принц, молча посмотрев на него большими глазами, заметил, что ему весьма досадно, ежели он чем не угодил ему в этом деле; однако же, он может показать решение государственного совета, где ему вменялось в обязанность к назначенному сроку выслать государственного прокурора. Он пояснил, что в государственном совете не было и речи о каких либо переговорах по сему поводу с доктором Лютером; быть может, и было бы целесообразно предварительно посоветоваться с этим духовным лицом, в виду его ходатайства за Кольгааса, но теперь, когда на глазах всего света данная амнистия нарушена, когда он арестован и выдан в Бранденбург для суда и расправы, это уже поздно.—«Посылка Эйбенмайера—не такая уж значительная ошибка»,—возразил курфюрст,—«но я хочу, чтобы впредь до особого распоряжения он не выступал в Вене в качестве обвинителя»; и он просил принца известить об этом Эйбенмайера нарочным.—«К сожалению, приказ этот опоздал на целый день»,—ответил принц.—«Получены сведения, что Эйбенмайер выступал уже сегодня на суде в качестве прокурора и представил обвинительный акт в Венскую государственную канцелярию». На вопрос изумленного курфюрста, как могло все это быть сделано в столь короткое время, принц заметил, что Эйбенмайер три недели уже как выехал,

и что согласно данной ему инструкции, ему вменялось в обязанность тотчас по прибытии, исполнить возложенное на него поручение.

— Всякая медлительность, — закончил принц, — была бы в этом случае неуместна, так как бранденбургский прокурор Цейнер выступил самым резким образом против Венделя фон-Тронка и докладывал суду, что необходимо взять вороных от живодера для приведения их в прежний вид, и, несмотря на все возражения противной стороны, отстоял свое мнение перед судом.

Курфюрст, дернув звонок, заметил: — «Что делать, это не столь важно», — и переводя равнодушно разговор на другую тему, стал расспрашивать, что делается вообще в Дрездене, не случилось ли чего в его отсутствие? Но не будучи в силах дольше скрывать своего глубокого волнения, он знаком руки отпустил принца. В этот же день он письменно затребовал все кольгаасовское дело, под предлогом того, что лично займется им в виду его государственной важности; мысль погубить единственного человека, от которого он мог узнать тайну записки, стала для него невыносима; и вот он решает обратиться с личным письмом к императору. В письме этом он любезно но, настоятельно просит взять обратно поданную Эйбенмайером жалобу на Кольгааса по причинам весьма важным, которые он надеется

в скором времени, если то угодно будет его величеству, изложить самым подробнейшим образом.

Император ответил нотой через государственную канцелярию. В ней говорилось, что «его весьма удивляет происшедшая во взглядах курфюрста перемена; что посланное ему Саксонией уведомление о деле Кольгааса имеет значение события для всей священной Римской империи, и что в виду этого, он, император, ее возглавляющий, считает себя обязанным выступить по этому делу, в качестве обвинителя, перед бранденбургским двором; что придворный ассесор Франц Мюллер прибыл уже в Берлин в качестве прокурора по обвинению Кольгааса в нарушении общественного спокойствия, и что в настоящее время взять обратно обвинение никоим образом не представляется возможным; и посему надлежит предоставить дело нормальному ходу судебного процесса».

Сообщение это повергло курфюрста в полнейшее уныние; в довершение всех его огорчений вскоре из частных писем, полученных из Берлина, он узнал, что дело уже слушается в верховном суде и вероятно, несмотря на все старания защитника, Кольгаас кончит жизнь на эшафоте; тогда он решает сделать еще одну попытку, и пишет собственноручное письмо курфюрсту Бранденбургскому с прось-

бой о помиловании Кольгааса. В письме он указывает, что в силу дарованной ему амнистии, к нему не может быть применена смертная казнь, заверяя при этом, что лично он, несмотря на всю мнимую строгость к нему, ни в коем случае не имел намерения лишать его жизни; он указывал, как безутешен он будет, если защита, которую имели в виду даровать Кольгаасу, передавая его Берлину, вдруг примет для него такой неожиданно неблагоприятный оборот, и что в сущности было бы выгодней для него, если бы он остался в Дрездене и был судим там по Саксонским законам. Курфюрст Бранденбургский, которому в письме этом многое показалось двусмысленным и неясным, ответил, что твердость, с какою отнесся к этому делу прокурор его величества, не позволяет ему исполнить его желанья и отступить от закона; что он совершенно напрасно беспокоится по поводу нарушения дарованной Кольгаасу амнистии, ибо нарушает ее не он, курфюрст Саксонский, даровавший ее, а глава государства, который отнюдь не связан решением Берлинского верховного суда. Он указывал еще на то, какое влияние может иметь казнь Кольгааса на Нагельшмидта, который с неслыханной дерзостью продолжает свои набег даже в Бранденбургских владениях, и просил его в случае, если он остается при своем

взгляде, и не хочет принять все это во внимание, обратиться непосредственно к императору, ибо только один он в праве помиловать Кольгааса.

Курфюрст, опечаленный и раздосадованный, потерпев неудачу в своих попытках, заболел снова; однажды утром он показал пришедшему его навестить камереру свои письма к венскому и берлинскому двору, посланные в надежде отсрочить казнь Кольгааса и получить от него медальон с запиской. Камерер бросился перед ним на колени, умоляя его во имя всего святого сказать, что же такое заключается в этой записке? Курфюрст попросил его запереть дверь на ключ, и присесть к нему на кровать; схватив его руку, он крепко прижал ее со вздохом к своей груди, и начал такой свой рассказ:

— Твоя жена, я слышал, говорила тебе уже о том, что при свидании моем с курфюрстом в Ютербоге, это было на третий день нашего приезда туда—встретились мы во время прогулки с одною цыганкой; за обедом рассказывали много преувеличенного об изумительном даре пророчества этой странной женщины. Курфюрст, по своей живости, вздумал было посмеяться над ее искусством при всем честном народе и тем самым затмить ее славу, это было на площади рынка. Он подошел к ее столику, и, заложив руки в кар-

маны, обратился к ней с требованием предсказать ему чтонибудь, что исполнилось бы в тот же день, иначе он не поверит ее словам, будь она хоть сама Сибилла Римская.

Женщина, окинув нас метким провидательным взглядом, сказала:—«Вот вам знаменье, оно исполнится сегодня же: вы встретите, не успев уйти отсюда, здесь, на рыночной площади большую серну с ветвистыми рогами, что выкормлена в парке сыном садовника».

Надо тебе заметить, что серна эта предназначалась для дрезденского придворного стола; она содержалась за высокой изгородью под сенью столетних дубов, за решетками и замками, так что туда не проникнуть было ни зверю, ни птице. И казалось совершенно немислимым, чтобы она могла вдруг пробраться отсюда на рыночную площадь, где мы в это время находились; тогда курфюрст, подозревая, не кроется ли здесь какаянибудь мошенническая проделка, решил шутки ради, уговорившись со мною, послать в замок скорохода с приказаньем немедленно убить серну и приготовить ее на следующий день к обеду, и тем самым помешать исполниться предсказанью цыганки.

— Ну, ладно,— снова обратился он к ворожее,— а предскажи ка мне, что ждет меня в будущем?.. Женщина, взяв его руку, посмотрела и сказала:

— Слава курфюрсту, моему повелителю! Ты будешь долго править своим народом. Дом, из которого ты родом, будет княжить многие лета, потомки твои будут славой могучи, а в великолепии превзойдут всех князей и правителей мира.

Курфюрст некоторое время молча и задумчиво глядел на женщину, потом, подойдя ко мне поближе, сказал полу-шопотом, что ему, пожалуй, теперь и досадно, что он отправил скорохода помешать исполниться предсказанью; со всех сторон на колени ворожей посыпались деньги серебряным дождем, такова была радость окружавшей его рыцарской свиты. Курфюрст достал из кармана золотой и бросил ей с вопросом:

— Неужто предсказанье твое ты сделала мне под влиянием вот этого серебряного звона, или оно вырвалось у тебя от души?

Цыганка, открыв стоявший перед ней ящик, стала неторопливо и обстоятельно подсчитывать деньги, раскладывая их в кучки; потом она, сложив, заперла их в свой ящик и заслонив рукою глаза от солнца, точно оно ей было в тягость, пристально посмотрела на меня. Когда я повторил ей вопрос, она взяла мою руку и стала ее рассматривать, я в это время заметил шутливо курфюрсту:

— А, мне то, пожалуй, ей и нечего уж предсказать, чтобы было бы столь же приятно;

услыша мои слова, она взяла свои костыли, медленно встала со скамейки, и придвинувшись ко мне вплотную, как то загадочно подняв руки, отчетливо шепнула мне на ухо:

— Нет!

— Неужто?—проговорил я в смущении, невольно отодвинувшись от дыганки, которая, окинув меня холодным, безжизненным взором точно мраморных своих глаз, снова опустилась на свою скамейку.

— Откуда же грозит моему дому опасность?

Женщина, взяв уголек и бумагу и севши на корточки, спрашивает меня:

— Хочешь—напишу.

Я, растерявшись,—мне ничего другого не оставалось,—отвечаю:

— Что ж, напиши!

— Ладно, я напишу тебе три вещи: имя последнего правителя из твоего рода. Год, когда он лишится своего царства. И имя того человека, кто с оружием в руках его отнимет.

Написав что то на глазах у всего народа, она скрепила листок сургучем и, смочив его своими увядшими губами, запечатала оловянным перстнем со среднего пальца. Я сгорая, ты сам понимаешь, от любопытства, протягиваю ей руку за запиской, но она останавливает меня:

— Нет, нет, ваша светлость!—и поднявши костыль свой в воздухе, указывает им:

— Вон человек, в шляпе с пером, что стоит на ступеньках у церковной паперти: у него, если угодно, выкупишь ты свою записку!

И не успев еще хорошенько разобрать всего сказанного ею,—стою я в недоумении, а она, заперев тем временем торопливо свой ящик, взвалила его на спину, и быстро, я не успел и оглянуться, как скрылась в толпе. В это время, к великому моему утешенью, вернулся посланный курфюрстом рыцарь, и улыбаясь сообщил, что серна уже убита и что он сам видел, как двое егерей отнесли ее на кухню. Курфюрст, взяв меня весело за руку и собираясь увести меня с площади, заметил:

— Ну, вот и прекрасно! Все эти предсказания—обычное шарлатанство, не стоило нам и тратить на это ни времени, ни денег!

Но велико было наше изумленье, когда не успел еще окончить курфюрст своей фразы, вдруг на площади раздались крики и все глаза устремились на огромную овчарку, которая, вцепившись зубами в спину несчастной серны, тащила ее, преследуемая вдогонку дворовыми слугами и служанками. Вдруг, в трех шагах от нас, она бросает свою добычу—вот как исполнилось предсказанье цыганки, точно в доказательство всего, что она мне насаждала: хоть мертвою, но серна явилась перед нами

на рыночной площади. Мне кажется, что еслиб даже молния ударила с неба среди зимнего дня—меня бы менее поразило это, чем то, что произошло у нас на глазах.

Как только мне удалось остаться наедине, первым моим желанием было разыскать того человека в шляпе с пером, на которого мне указала ворожея; но несмотря на все поиски, они продолжались целых три дня,—никто из моих людей не мог напасть хотя бы приблизительно на его след; и вот теперь, милый Кунц, несколько недель тому назад, собственными глазами вдруг увидел я этого человека на мызе в Дааме.

Окончив рассказ, он выпустил руку камерера, и вытирая выступивший на лбу пот, усталый, снова опустился на постель. Находя бесполезным доказывать курфюрсту свои взгляды по этому поводу, он все равно бы с ними не согласился, камерер предложил испробовать какой нибудь способ, чтобы добыть желанную записку, а потом уж предоставить Кольгааса на волю судьбы; курфюрст решительно ничего не мог придумать, хотя мысль отказаться от нее, и вместе с тем, значит, утратить возможность раскрыть ее тайну, приводила его в совершенное отчаянье. На вопрос своего друга, не пробовал ли он разыскать эту цыганку, курфюрст объяснил, что он отправил в ратушу приказ, выдумав по-

вод к тому, во что бы то ни стало, но задержать эту женщину; но по сей день не удалось напасть на ее след, и он думает, что вследствие некоторых обстоятельств, каких он не захотел объяснять подробней, он сомневается вообще, что ее можно разыскать в пределах Саксонии.

Случилось так, что камерер собирался как раз в то время в Берлин, по делу о полученных его женою поместьях в Неймарке, в наследство от бывшего эрцканцлера Калльхейма, умершего вскоре после отстранения его от должности; а так как камерер действительно любил своего курфюрста, то, пораздумав, спросил его, согласен ли тот дать ему полную свободу действий в этом деле, на что курфюрст, прижав руку к сердцу, ответил ему с жаром: — «Вообрази себя на моем месте и достань мне записку!»

Тогда камерер ускорил на несколько дней свой отъезд и, сдав дела и оставив жену свою дома, отправился в Берлин в сопровождении всего лишь нескольких слуг.

Тем временем Кольгаас, как было уже сказано выше, прибыв в Берлин, по особому распоряжению курфюрста был заключен в рыцарскую темницу вместе со своими пятью детьми, при чем велено было отвести для него удобное помещение; по прибытии из Вены имперского прокурора, он был тотчас

вызван в верховный суд по обвинению в нарушении спокойствия и порядка страны; и хотя он и заявил, что в силу состоявшегося в Люцене соглашения с курфюрстом Саксонии, ему не может быть предъявлено обвинение в вооруженном нападении и совершенных при этом насилиях в пределах Саксонии, однако, ему было указано, что согласно воли его величества, прокурором это не может ни в коем случае быть принято во внимание. Вскоре ему объявили, что в Дрездене же по делу с помещиком фон-Тронка в иске он удовлетворен по всем статьям. Вышло так, что как раз в день приезда камерера был вынесен приговор над Кольгаасом, по которому он был присужден к обезглавлению мечем; никто, однако, не хотел верить в исполнение этого приговора, несмотря на всю его, казалось, мягкость, в виду полнейшей запутанности обстоятельств этого дела; весь город, зная, с каким доброжелательством относился курфюрст к Кольгаасу, надеялся, что по его властному слову казнь несомненно будет заменена простым, хотя, может быть, и долгосрочным, заключением в тюрьме.

Камерер, однако ж, сообразил, что терять времени даром нельзя, и для того, чтобы успеть выполнить возложенное на него курфюрстом поручение, начал с того, что в один

из ближайших дней направился к зданию тюрьмы; он нарочито стал медленно прогуливаться мимо тюремных окон в своем обычном придворном наряде, думая тем самым обратить на себя внимание Кольгааса, стоявшего в это время у окошка и спокойно и добродушно разглядывавшего прохожих; камереру показалось, что тот вдруг повернул голову в его сторону и, как будто узнав его, невольно прижал руку к груди, где хранился медальон; камереру хотелось истолковать это, как знак того, что пора приступить к делу. Он велел позвать к себе торговку ветошью, какую то старуху, виденную им случайно на днях в одном из переулков Берлина среди подобного же сброда старьевщиков; ему показалось, что она как нельзя более подходит и годами и внешностью к той, о которой рассказывал ему курфюрст; заранее убежденный в том, что Кольгаас, разумеется, не мог запомнить хорошо лица ворожеи, виденной им мимолетно и которая ему вручила когда то записку, он решает подослать эту старьевщицу к нему, предложив ей выдать себя за цыганку ворожею. Он подробно рассказал ей обо всем, что произошло между курфюрстом и цыганкой тогда в Ютербоге; не зная хорошенько, что она там такое насаждала относительно Кольгааса, он постарался втолковать ей, главным образом, три таинственных пункта

записки; объяснил ей при этом, чтобы она говорила возможно отрывочней и непонятней; сказал ей, что благодаря сделанным уже приготовлениям должно раздобыть эту записку, все равно хитростью или насильем, и что сие весьма важно для Саксонского двора; он поручил ей предложить Кольгаасу отдать записку, якобы на временное хранение, объяснив, что в тюрьме в эти тревожные дни ее могут все равно отнять у него силой. Старьевщица в надежде на хорошее вознаграждение охотно взялась тотчас состряпать все это дело, при условии, конечно, что часть обещанных денег за эту услугу ей будет выдана вперед; надо сказать, что мать Херзе, убитого под Мюльбергом, навещала иногда с разрешения начальства Кольгааса в тюрьме, а так как старьевщица была уже несколько недель знакома с нею, — то ей и удалось, подкупив за небольшую сумму тюремного сторожа, в один из ближайших же дней проникнуть к Кольгаасу.

Когда она вошла, Кольгаас, заметив у нее на руке перстень, а на шее коралловое ожерелье, подумал, не та ли это самая старуха-цыганка, что дала ему когда то в Ютербоге записку; а так как не всегда правдоподобие бывает на стороне истины, то и здесь, возьми да случись такое же совпадение; и мы, хотя и считаем своим долгом рассказать здесь об

этом, однако предоставляем читателю полную свободу, если ему будет угодно, в том усумниться; надо сказать, камерер здорово таки промахнулся; разыскивая на улицах Берлина подходящую женщину, которая взялась бы выдать себя за цыганку, он и наткнулся как раз на ту самую, из Ютербога.

По крайней мере, старуха, опершись на костыли и лаская детей, которые, смутясь ее странным видом, прижались к отцу, начала свою беседу с того, что рассказала, что она довольно давно как вернулась из Саксонии в Бранденбург; и вот, услышав случайно на одной из улиц Берлина, как камерер довольно таки неосторожно наводил справки, разыскивая цыганку, бывшую весной прошлого года в Ютербоге, она поспешила подойти к нему, и, назвавшись вымышленным именем, взялась соображать это дело. Кольгаас был настолько поражен ее удивительным сходством со своей покойной женою Лизбет, что ему даже хотелось спросить, не приходится ли она ей бабушкой, ибо не только черты лица напоминали самым живейшим образом покойную, но всё, — даже руки, хотя и костлявые, но красивые по форме, в особенности, когда она ими жестикулировала в разговоре; и даже родимое пятно, на шее у этой старухи, было такое же самое, как и у его жены. Мысли у него как то странно путались, набегая одна

на другую; подвинув скамейку, он предложил ей сесть и осведомился, по каким же это делам камерера попала она к нему?

Женщина ответила, глядя любимую собаку Кольгааса, сначала с недоверием обнюхивавшую ее колени, потом успокоенно замахавшую хвостом, что поручение, данное ей камерером, сводилось к тому, чтобы разузнать и сообщить ему тайну трех загадочных предсказаний, заключенных в записке и касающихся весьма важным образом Саксонского двора; она хочет предостеречь Кольгааса о том, что в Берлин прислан человек с целью выманить у него эту записку, под предлогом, что она якобы может пропасть у него. И вот она пришла к нему затем, чтобы сообщить, что угроза отнять ее у него хитростью или насилеи—заведомая ложь: находясь ныне под защитой курфюрста Бранденбургского, ему ни в коем случае не следует этого опасаться, и он не должен ее отдавать никому ни под каким предлогом.

— Но все же,—заклЮчила она, будет благоразумно ею воспользоваться с тою целью, с какой она и была мной тебе вручена, тогда, на ярмарке в Ютербоге; следует со вниманием отнестись к предложению, сделанному тебе на границе рыцарем фон-Штейном, и выменять ее у курфюрста Саксонского на жизнь и свободу.

Кольгаас ликовал по поводу силы, имеющейся теперь у него, чтобы добить смертельно раненого врага:

— Ни за что, матушка, ни за что на свете!—и пожав руку старухи, он хотел спросить у нее, что же за диковинные ответы заключены в этой записке.

Женщина, посадив на колени младшего сына Кольгааса, игравшего у ее ног, сказала:

— Вот ты, коневод Кольгаас, говоришь — «ни за что на свете»; ну, а вот ради этого милого белокурого мальчугана?—и улыбаясь ребенку, ласково прижала его к себе и стала крепко целовать, а он смотрел на нее своими большими детскими глазами; затем она достала из кармана яблоко и подала своими старческими костлявыми руками мальчику. Кольгаас, немного смутившись, заметил, что когда дети вырастут, наверное, будут хвалить его за то, что он поступил именно так, и ради них и потомства сохранил эту записку у себя.

Он спросил, кто же теперь после всех его злоключений предостережет его от нового обмана, и неужто предстоит ему также бессмысленно пожертвовать ею для курфюрста, как пожертвовал он уже своим военным отрядом в Люцене.

— Кто раз не сдержал слова,—добавил он,—с тем не о чем мне говорить. И только

ты, матушка, можешь заставить меня, сказав о том ясно и прямо, расстаться ли мне с этим листком, который столь странным образом вознаградил меня за все, что я вынес.

Женщина, посадив ребенка на пол, ответила, что Кольгаас в известном смысле прав, что может действовать по своей собственной воле. С этими словами она, взяв свои костыли, направилась было к выходу. Кольгаас повторил вопрос насчет содержания этой загадочной записки; она ответила, что ведь он может ее распечатать и прочесть, но это будет с его стороны лишь простым любопытством. Ему хотелось, пока она еще не ушла, расспросить ее о многом другом: кто ж она такая, откуда у нее такая способность предсказывать будущее, отчего она не отдала записки курфюрсту, отчего среди всей толпы народа она избрала именно его, Кольгааса, передав ему этот странный листок, ему, который никогда не интересовался ее наукой?—В это время послышался шум шагов—по лестнице поднимались полицейские чиновники; старуха, боясь, как бы ее здесь не застали, торопливо проговорила: — «Ну, до свиданья, Кольгаас, до свиданья! В другой раз, если встретимся, всё, всё узнаешь». — Сказав это, она направилась к двери и, по пути, поцеловала всех детей:— «Ну, прощайте, детки, прощайте!»—и ушла.

Между тем курфюрст Саксонский, обуреваемый печальными мыслями, решает призвать к себе двух знаменитых в то время в Саксонии астрологов—Ольденхольма и Олария, дабы узнать от них о содержании таинственной и столь важной для него и всего его рода записки; ученые мужи после продолжавшегося несколько дней глубокомысленного чтения по звездам с башни дрезденского замка разошлись во мнениях,—относится ли это пророчество к последующим столетиям или к настоящему времени; и не подразумевается ли под сим корона Польская, с которой отношения в то время были все еще весьма воинственные. И вот под влиянием этого ученого спора беспокойство, если бы не сказать просто отчаянье, несчастного властителя не только не утихло, но обострилось до такой степени, что стало почти невыносимым. К тому же, жене камерера, собиравшейся уехать к своему мужу в Берлин, было поручено перед отъездом осторожно намекнуть курфюрсту о неудавшейся попытке добыть записку через одну женщину, которая это должна была сделать и которая вместо того скрылась неизвестно куда; и что в виду всего этого придется отказаться от надежды получить когда либо от Кольгааса записку, тем более, что вынесенный, после всестороннего обсуждения дела, приговор уже подпи-

сан курфюрстом Бранденбургским и казнь назначена на следующий день после Вербной недели. Известие это повергло курфюрста в совершеннейшее уныние. От раскаяния и тоски разрывалось его сердце, он точно потерянный заперся в своей комнате, и пресыщенный жизнью двое суток не пил и не ел, и вдруг на третий день сообщил областному управлению, что он отправляется на охоту к герцогу Дессаускому, и исчез из Дрездена. Куда же на самом деле он направился, так и остается нами невыясненным; по крайней мере, летописи того времени, касающиеся этих обстоятельств, из которых мы заимствуем наши сведения, сообщают об этом факте почему то весьма разноречиво. Известно лишь одно, что во всяком случае герцог Дессауский не мог в это время находиться ни на какой охоте, ибо лежал больной в Брауншвейге у своего дядюшки герцога Гейнриха, а госпожа Элоиза на следующий день вечером в обществе графа некоего фон-Кенигштейна, которого она выдавала за своего двоюродного брата, прибыла в Берлин к своему мужу, камереру господину Кунцу.

На ту пору Кольгаасу по приказанию курфюрста был уже прочитан смертный приговор; с него были сняты оковы; ему были возвращены документы, отобранные у него в Дрездене, касающиеся его имущества; когда

советники, посланные к нему судом, спросили его, как желает он распорядиться своим имуществом после смерти, он составил нотариальное завещание в пользу своих детей и назначил над ними опекуном верного своего друга, старосту из Кольгаасенбрюка.

И ничто не могло сравниться со спокойствием и ясностью его последних дней; по особому распоряжению курфюрста, темница его была открыта и разрешено было всем его друзьям, а у него их в Берлине было не мало, посещать его в любой час дня и ночи. К тому же он имел удовольствие видеть у себя в тюрьме теолога Якоба Фрейзинга, посланного к нему доктором Лютером с собственноручным, должно быть весьма примечательным, письмом от него, которое, к сожалению, затерялось. Этот духовник причастил его святых таин в сослужении двух бранденбургских монахов. В городе все пришло в движение; население еще не оставляло надежды на высокое слово, которое может быть спасет его от смерти; но вот прошло Вербное воскресенье и настал роковой понедельник, который должен был примирить Кольгааса со светом за его слишком рьяную попытку, по собственному почину, добиться правды. Вот показался он из тюремных ворот под сильную стражей, держа двух младших сыновей на руках (эту милость он настойчиво вы-

просил себе у суда), в сопровождении теолога Якоба Фрейзинга; вдруг из толпы окружающих его знакомых, которые с грустью прощались с ним и пожимали ему руки, выступил кастелян курфюрстовского замка и с растерянным лицом подал ему листок, который велела будто бы передать ему в собственные руки какая то старуха. Кольгаас с удивлением взглянул на мало знакомого ему человека, но увидев печать, он тотчас узнал в ней оттиск перстня той цыганки.

Но кто опишет его изумление, когда он прочел следующие строки:

«Кольгаас,

курфюрст Саксонский — сейчас в Берлине; он уже отправился к месту казни, ты можешь его узнать по шляпе с белыми и голубыми перьями. Зачем он прибыл — тебе известно. Он собирается после твоей смерти вырыть тебя из могилы, чтобы достать записку, хранящуюся у тебя в медальоне.

Твоя Элизабет.»

Крайне взволнованный Кольгаас спросил кастеляна, знает ли он ту странную женщину, которая передала ему эту записку. Не успел кастелян промолвить:—«Кольгаас,— женщина эта»...—вдруг запнулся и не договорил—толпа

в это время, нахлынув, оттеснила его, и Кольгаас не мог разобрать дальше его слов, он только видел, как человек этот, казалось, весь дрожал.

Когда привели Кольгааса на лобное место, среди несметной толпы он увидел на коне самого курфюрста Бранденбургского со свитой, в которой находился и эрцканцлер Гейнрих фон-Гейзау; по правую руку от него — имперский прокурор Франц Мюллер со смертным приговором в руках; слева — прокурор и ученый курфюрста правовед Антон Цейнер с заключением Дрезденского верховного суда; посреди полукруга, замыкавшегося толпой, — герольд с узлом вещей, держа в поводу двух откормленных, с лоснящейся шерстью, вороных, которые били копытами землю. Ибо эрцканцлер Гейнрих, по поручению курфюрста, заставил помещика Венцеля фон-Тронка в точности, без малейшего послабления, выполнить все пункты судебного постановления. Когда вороных брали от живодера, их почтили склоненным над их головами знаменем, затем они были переданы конюхам помещика фон-Тронка для откорма, а затем в присутствии особой комиссии приняты прокурором на рыночной площади в Дрездене. Когда Кольгаас в сопровождении стражи взшел на помост, курфюрст обратился к нему с такой речью:

— Итак, Кольгаас, сегодня день, когда свершится суд над тобой! Смотри, вот возвращаю я тебе все, что было отнято у тебя в Тронкенбурге, и что я, как правитель страны, был обязан тебе вернуть: вот твои вороны, твой шейный платок, золотые гульдены, белье, даже деньги, которые ты истратил на лечение своего работника Херзе, убитого под Мюльбергом. Доволен ли ты мной?

Изумленными, горящими глазами прочитал Кольгаас постановление суда, врученное ему по знаку эрцканцлера, затем он опустил обоих детей на землю, которых держал до того на руках; дойдя до пункта, в котором говорилось, что помещик Вендель приговорен к двухлетнему тюремному заключению, он, под влиянием волновавших его чувств, встав и положив руку на колено, радостно сказал эрцканцлеру, что самое заветное его желание исполнилось; потом подошел он к лошадям, внимательно осмотрел их, ласково погладил их по лоснящимся спинам, и обратясь к канцлеру, весело молвил, что дарит их своим сыновьям, — Гейнриху и, Леопольду! Канцлер господин Гейнрих фон-Гейзау, нагнувшись с седла, милостиво ответил, что именем курфюрста он обещает свято исполнить последнюю его волю, и попросил распорядиться также насчет находящихся в узле вещей. Тогда Кольгаас окликнул старуху-мать

Херзе, которую заметил в толпе народа, и, подозвав ее к себе, сказал, передавая ей узел:

— Возьми вот это себе, матушка, — это принадлежит тебе! — Деньги, которые были в узелке свещами, что получены были в вознаграждения убытков, он отдал ей в подарок, прибавив, — что они пригодятся ей на старости лет.

— Ну, а теперь, коневод Кольгаас, — крикнул курфюрст, — ты, который удовлетворен в своей тяжбе, приготовься держать ответ императорскому величеству в лице присутствующего здесь его прокурора, за нарушение тобой спокойствия страны!

Кольгаас, сняв шляпу, бросил ее на землю:

— Я готов! — и, взяв детей, прижал их еще раз крепко к груди, затем передал их старосте из Кольгаасенбрюка, который и увел их, тихо плачущих, с площади, а сам подошел к плахе.

Вот развязал он слегка шейный платок, расстегнул ворот рубахи, и, глянув мельком на круг народа, заметил вдруг в нескольких шагах от себя хорошо знакомую фигуру человека в шляпе с белыми и голубыми перьями, которого заслоняли собой два каких то рыцаря. Вдруг Кольгаас отстранил от себя окружавшую его стражу, как то странно быстро подошел к нему вплотную, снял с шеи оловянный медальон; вынул из него записку,

распечатал ее, прочитал, глядя в упор на вельможу в шляпе с белыми и голубыми перьями, которого вдруг осенила была надежда разгадать ее тайну,—и, не глядя на него, сунул записку в рот и проглотил ее.

Увидя это, человек в шляпе с голубыми и белыми перьями в судорогах упал без чувств на землю. В то время, как его озабоченные спутники нагнулись, чтоб поднять его с земли, Кольгаас взмог на эшафот, и упала с плеч голова на плаху под ударом палачева топора.

На этом и кончается история о Кольгаасе. Тело его при общем плаче народа было положено в гроб; и когда подняли его могильщики и понесли на кладбище предместья, чтобы предать, как подобает, земле, курфюрст позвал к себе сыновей казненного, и ударом меча посвятил их в рыцари, объявив при этом эрцканцлеру, что он определяет их в пажескую школу.

Курфюрст Саксонский вскоре после того вернулся в Дрезден, совершенно расстроенный и печальный, а о том, что случилось в дальнейшем, отсылаем читателя к истории самого города.

Потомки Кольгааса, веселые и здоровые крестьяне, жили еще в прошлом столетии в герцогстве Мекленбургском.

Цена 1 р. 40 к.